



Царевна- лягушка

ПРОКЛЯТИЕ КОЖИ

МАРГАРИТА КИРОВА

Маргарита Кирова

**Царевна-лягушка:
Проклятие кожи**

«Автор»

2026

Кирова М.

Царевна-лягушка: Проклятие кожи / М. Кирова — «Автор»,
2026

Иван украл невесту не ради любви. Он украл её кожу — источник древней змеиной силы — и получил ведьму, которая обязана подчиняться. Василиса ненавидит людей. Особенно того, кто держит её жизнь в сундуке. Но чем ближе Иван к трону, тем крепче их связывает боль, магия и желание уничтожить друг друга. Он хотел сделать её оружием. Она сделает его своим.

© Кирова М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

| | |
|--------------------------------------|----|
| ПРОЛОГ. Кожа в траве | 5 |
| ГЛАВА 1. Младший сын берёт своё | 8 |
| ГЛАВА 2. Закон кожи | 14 |
| ГЛАВА 3. Невеста из роши | 19 |
| ГЛАВА 4. Двор встречает чудовище | 26 |
| ГЛАВА 5. Серебро под кожей | 33 |
| ГЛАВА 6. Свадьба с кровью на губах | 41 |
| ГЛАВА 7. Первая брачная ночь без сна | 53 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 58 |

Маргарита Кирова

Царевна-лягушка: Проклятие кожи

ПРОЛОГ. Кожа в траве

Василиса

Я оставляю кожу на камне, потому что камень помнит лучше людей.

Он лежит у корня старой ели, медно-зелёный, гладкий после дождя. Вокруг трава по пояс, мокрые стебли липнут к голым бёдрам. Дальше, за кругом рябин, лес стоит тихо.

Тишина стоит неестественно ровно.

Я замираю с ножом в руке.

Медная Мать не любит шумных обрядов. Ей нужна кровь. Тепло ладони на камне. Дыхание между зубов. Кожа, сброшенная добровольно. И одиночество.

Я провожу лезвием по внутренней стороне запястья. Рана открывается тонко. Кровь собирается на коже тяжёлой тёмной бусиной.

– Бери, – говорю я.

Камень пьёт.

Под землёй откликается медь. Сначала глубоко, потом ближе, под костями, под языком. Я закрываю глаза.

Боль приходит мягко.

Так всегда бывает в начале. Тело делает вид, что оно моё. Потом оно вспоминает, что хочет жить.

Я опускаюсь на колени. Позвоночник выгибается, кожа на спине натягивается до белого жара. Ногти входят в землю. Я не кричу. Хозяйки Медной горы не кричат там, где их может услышать лес.

Позвоночник щёлкает.

Ещё раз.

Под человеческой кожей шевелится настоящая.

Она идёт изнутри наружу, тёмная, гладкая, голодная. Рёбра становятся слишком узкими для дыхания. Язык меняется. Зубы режут губу изнутри.

Кровь на языке сладкая.

Я сбрасываю человеческое.

Кожа остаётся на камне.

Не вся. Та, что важнее тела. Та, что держит моё имя, мою силу, мою долгую память. Лягушачья, сказали бы люди, если бы увидели. Глупые люди.

Я скольжу в траву уже другой.

Мир становится запахом. Тёплая мышь под корнями. Старая лисья моча у куста. Вороньи перья. Грибная гниль. Далеко – человеческий дым.

И ещё один запах.

Пот.

Кожа.

Железо.

Мужчина.

Я поднимаю голову.

Роща пуста.

Рябина молчит. Ель молчит. Камень за спиной молчит громче всех.

Я разворачиваюсь.

Камень пуст.

Нет.

Пока ужас не получил форму, он слаб. Пока ты не назвала потерю, она может быть ошибкой взгляда.

Камень пуст.

Моя кожа исчезла.

У корня ели примята земля. Не зверем. Сапогом. Человеческим. Тяжёлым, с железной набойкой на каблуке. След уходит к бурелому.

Я бросаюсь туда.

Тело слушается плохо. Без кожи сила держится во мне, как вода в треснувшей чаше. Воздух становится острым. Я слышу собственное дыхание и ненавижу его.

За буреломом – яма.

В ней стоял человек. Ждал. Долго. На дне вдавлена сухая трава. Кусок серой ткани зацепился за щепу.

Он знал, куда смотреть.

Знал, что брать.

Я возвращаюсь к камню, потому что без кожи не могу долго держать истинный облик. Уже тянет назад: к костям, к пальцам, к лицу, которое придумали для меня люди.

Переход выходит грязным.

Кости скребут изнутри. Руки вытягиваются из тёмной массы, пальцы раскрываются, ногти ломаются о камень. Волосы липнут к лицу. Лёгкие вспоминают себя последними.

Я падаю на колени голая, слабая, злая настолько, что трава чернеет вокруг.

Чья-то тень ложится на меня.

Я поднимаю голову.

Он стоит на краю рябинового круга.

Молодой. Но не мальчик. В охотничьем кафтане без знака старшинства, в сапогах до колен, с луком за плечом и грязью на рукаве. Русые волосы выбились из-под ремешка, на щеке царапина. Скулы резкие. Рот спокойный. Глаза серые, внимательные, без лишнего страха.

Под плащом у него что-то прижато к груди.

Моя кожа.

– Верни, – говорю я.

Голос хрипит. Слишком человеческий.

Он не отступает.

– Ты ведь понимаешь меня.

– Верни.

Я делаю шаг.

Мир темнеет по краям. Между мной и кожей всего семь шагов. Может, восемь.

Он кладёт руку на свёрток под плащом.

Боль сбивает меня на колено.

Не острая. Хуже. Внутренняя. Будто невидимый крюк вошёл под грудную кость и потянул назад, в него. Моё тело слушает чужую ладонь.

Он понял.

– Встань, – говорит он.

Я остаюсь на колене.

Крюк поворачивается.

Тело поднимается без моего согласия. Я встаю перед ним, и впервые за много лет хочу закричать так, чтобы мёртвые в Медной горе проснулись.

– Кто ты? – спрашивает он.

Я улыбаюсь.

– Та, кого ты не удержишь.

– Уже удержал.

Я бросаюсь.

– Стой, – говорит он.

Тело замирает.

Моя рука висит в воздухе у его шеи. Между ногтями и его кожей – ширина дыхания. Я чувствую тепло его крови. Слышу удар в жиле.

Но не могу двинуться.

В его лице появляется страх.

Хорошо.

– Ты пойдёшь со мной, – говорит он.

Слова ложатся на горло медной удавкой.

Я улыбаюсь шире.

– Люди всегда так начинают, – говорю я. – С верёвки. С клетки. С чужого имени в зубах.

Он поднимает с травы мой медный нож и прячет его за пояс.

– А чем заканчивают?

Я смотрю на свёрток у его груди.

На свою кожу.

На его живое горло.

– Тем, что просят меня убить их быстро.

Он молчит дольше, чем нужно. Потом делает шаг к выходу из роши.

Моё тело идёт за ним.

На границе рябинового круга он оборачивается.

– Меня зовут Иван.

Я запоминаю имя.

Имена нужны для проклятий.

– Василиса, – говорю я.

Он кивает, будто я дала ему подарок.

Глупый.

Я дала ему нож. Просто он пока не понял, с какой стороны держит лезвие.

ГЛАВА 1. Младший сын берёт своё

Иван

Она идёт за мной босая, в моей охотничьей рубахе. Лес расступается перед ней так, будто пленник здесь я.

Рубаху я бросил ей после первого оврага. Не из жалости – из расчёта. Обнажённая женщина привлекает людей. Обнажённая ведьма – священников, крики, вилы, огонь и лишние вопросы. Мне вопросы не нужны.

Мне нужна она.

Точнее, то, что лежит у меня под плащом.

Кожа тёплая.

Я думал, она будет мерзкой: склизкой, холодной, как дохлая рыба. Нет. Она греет через ткань сумки, через рубаху, через кожу на груди. Иногда чуть шевелится, будто дышит в такт со мной.

Когда я касаюсь свёртка пальцами, Василиса сбивается с шага.

Я делаю это ещё раз.

Она останавливается.

Не по своей воле. Это видно по плечам: они остаются прямыми, гордыми, но тело предаёт её и замирает посреди тропы.

У меня пересыхает во рту.

Власть должна чувствоваться иначе. Я думал, она будет горячей. Как вино. Как победа после драки. Как взгляд отца, наконец задержавшийся на мне дольше, чем на пустом месте.

А это холод.

Чистый, тонкий, под рёбра.

Я оборачиваюсь.

– Иди рядом.

Она идёт.

Не позади. Рядом. Ровно на расстоянии, которое не даёт мне забыть, что если бы не кожа, она вскрыла бы мне живот ногтями и смотрела, как я держу кишки руками.

Хорошо.

Я не люблю покорных. Покорные врут хуже всех.

– Ты знаешь, кто я? – спрашиваю я.

Она не смотрит.

– Мясо с именем.

– Царский сын.

– Мясо с отцовским именем.

Я усмехаюсь.

Она умеет попадать.

– Младший сын царя Гордея.

– Это должно было сделать мясо вкуснее?

Я резко хватаю свёрток.

Она сгибается, будто ей вонзили палец под сердце. Не падает. Упирается ладонью в ствол берёзы и поворачивает ко мне лицо.

Бледная. В зрачках узкие тёмные щели. На виске под кожей пробегает чешуя и исчезает.

Я отпускаю свёрток.

– Следи за языком.

– Отрежь.

– Могу приказать тебе молчать.

– Можешь.

– И ты будешь.

– Буду.

Она говорит это спокойно. Почти ласково. От этого злость поднимается быстрее.

– Тогда молчи.

Слова выходят раньше мысли.

Василиса закрывает рот.

Не сама.

Я вижу, как напрягаются мышцы на её челюсти. Как горло дёргается, удерживая застрявшее слово. Она смотрит на меня, и в этом взгляде нет просьбы. Только обещание.

Тишина становится плотной.

Лес тоже молчит.

Я иду дальше. Она за мной, уже на полшага позади: приказ молчать не отменяет приказа идти рядом, и тело выбирает середину. Закон не умён. Закон точен.

Это можно использовать.

Нужно понять границы.

– Остановись.

Она останавливается.

– Подними правую руку.

Пауза.

Рука поднимается.

Медленно. С ненавистью. Но поднимается.

– Опусть.

Опускает.

– Скажи моё имя.

Её губы открываются.

Голос выходит глухой:

– Иван.

Звук моего имени в её устах касается кожи на затылке. Неправильно. Слишком близко. Опасно близко. Словно она произнесла его не наружу, а мне под язык.

Я отвожу взгляд первым.

Она замечает.

Конечно замечает.

– Значит, говорить можешь, – говорю я.

– Ты приказал назвать имя. Не разговаривать.

Закон точный.

Я усмехаюсь, хотя на самом деле мне не смешно.

– Ты всегда ищешь щели?

– Я живу в них.

Дальше мы идём без слов.

К полудню лес редет. Начинаются охотничьи земли. Мои земли, если верить старой карте. На деле всё, что не отдано Борису или Фёдору, считается моим: заброшенные терема, мокрые луга, люди с плохими зубами и долгами. Отец щедр на то, что ему не нужно.

Василиса идёт всё медленнее.

Сначала я думаю, что она хитрит.

Потом вижу кровь.

Тёмные следы на мху за ней. Порезы на ступнях. Тонкие, глубокие. Она не смотрит вниз и даже не меняет шага, пока дрожь уже невозможно спрятать.

– Стой.

Она замирает.

Я подхожу.

– Сядь.

Она садится на поваленную сосну. Лицо каменное. Рубаха сползла с одного плеча, под ключицей видны тёмные точки, будто кто-то наколол туда мелкую чешую и спрятал под человеческой кожей.

Я приседаю перед ней.

Её ступни грязные, порезанные. В одном порезе застряла щепка.

– Убери руки, – говорю я.

– Чтобы тебе было удобнее играть в милосердие?

– Чтобы вытащить щепку.

– Прикажи ей выйти.

Я поднимаю глаза.

Она смотрит на меня сверху вниз, хотя сидит, а я на корточках. Умудряется.

– Это так не работает, – говорю я.

– Ты уже изучил меня?

– Начал.

– Не режься.

Я хватаю её за пятку.

Она не дёргается. Но в тот же миг воздух становится холоднее. Трава у моего колена покрывается серебристой изморозью. От её кожи идёт не тепло, а что-то странное, глубокое, как от камня в пещере.

– Прикажешь не сопротивляться? – спрашивает она.

– Не нужно.

– Боишься, что понравится?

Я выдёргиваю щепку.

Она втягивает воздух сквозь зубы.

В тот же миг у меня самого простреливает ступню. Резко, горячо. Я смотрю вниз. Сапог цел. Крови нет.

Боль не моя.

И всё равно моя.

Василиса видит это.

Её глаза чуть сужаются.

– Что это было? – спрашиваю я.

– Плата.

– За что?

– За глупость.

Я сжимаю щепку в пальцах до боли.

– Объясни.

Она молчит.

Не потому что не может. Потому что выбирает.

Я почти касаюсь свёртка под плащом.

Она следит за моей рукой.

– Объясни, – повторяю.

Приказ входит в неё. Я вижу это по горлу. По тому, как губы становятся белыми.

– Кожа не верёвка, Иван. Она живая. Она помнит меня. Теперь она слышит тебя. Между нами будет ходить то, что ты поднимешь. Боль. Приказ. Сон. Страх.

– Я буду чувствовать твою боль?

– Иногда.

– А ты мою?

Её улыбка режет.

– Надеюсь.

Я встаю.

Нога всё ещё ноет, хотя порез не на мне. Я не показываю. Она, конечно, видит.

– Тогда не заставляй меня делать тебе больно.

Она смеётся.

Первый раз.

Тихо, хрипло, некрасиво. Так смеются не на пирах. Так трескается лёд под ногой.

– Я заставляю?

Я отворачиваюсь.

Потому что ещё немного, и я ударю её. Или прикажу замолчать снова. Или скажу то, что нельзя: что она права.

Я хотел это.

Я ждал такого случая всю жизнь.

Не ведьму. Не кожу. Не её босые следы в крови.

Власть.

В доме моего отца власть всегда проходила мимо меня. Сначала к Борису – первому сыну, широкоплечему, шумному, любимцу дружины. Потом к Фёдору – тихому, сладкоречивому, любимцу советников и священников. Мне доставались объедки: учебные мечи с трещинами, кони после чужих падений, земли, где даже волки хромали.

Отец говорил: младшему полезно знать меру.

Я узнал.

Мера – это то, что ставят вокруг тебя другие.

И однажды ты её ломаешь.

Мы добираемся до терема к закату.

Терем стоит на холме над чёрной речкой: кривой, старый, с покосившейся башенкой. Брёвна потемнели от дождей. На крыше растёт мох. Над воротами висит мой знак – серый сокол с опущенным крылом. Отец смеялся, когда дарил мне этот герб. Сокол, который не взлетел.

У ворот Мирон поднимает арбалет.

Потом узнаёт меня и опускает.

– Царевич.

Его взгляд переходит на Василису.

Он ничего не спрашивает. За это я держу его при себе. Мирон старше меня на двенадцать лет. Лицо у него рубленое, нос ломали трижды, левое ухо почти отрезано. Он умеет молчать так, что за это хочется платить.

– Покои наверху, – говорю я. – Никого к ней не пускать.

– Она пленница?

Василиса улыбается.

Я отвечаю раньше, чем она успевает использовать зубы:

– Невеста.

Мирон моргает один раз.

Хороший человек. Сдержанный.

Из дверей вываливается Аграфена, ключница, маленькая сухая старуха с руками, как корни. Видит Василису и крестится так быстро, что пальцы путаются.

– Господи, сохрани.

– Он здесь не ходит, – говорит Василиса.

Аграфена бледнеет.

Я вдруг понимаю: приказ молчать давно перестал действовать. Не заметил когда. Плохо.

Или хорошо.

– Вымой её, одень, накорми, – говорю я. – И запомни: если она выйдет за ворота без меня, я спрошу с тебя.

– Она укусит? – шепчет Аграфена.

Василиса наклоняет голову.

– Только если плохо вымоют.

Старуха пятится.

Я хватаю Василису за локоть и веду внутрь. Под пальцами она тонкая, твёрдая. Не вырывается, и от этого держать её труднее.

В малой зале пахнет пылью, воском и мышами. На стене висит старый гобелен с охотой на белого оленя. Отец подарил его вместе с теремом. На гобелене охотники улыбаются, олень уже ранен, но ещё бежит.

Я всегда ненавидел эту тряпку.

Теперь смотрю на неё и думаю: иногда зверь ошибается только в одном. Он думает, что охотник – главный.

Мы поднимаемся с Василисой в верхние покои. Комната маленькая: кровать, сундук, стол, окно на реку. В углу – икона с потемневшим лицом святой. Василиса смотрит на неё с таким выражением, будто узнаёт давнюю должницу.

– Ты останешься здесь, – говорю я.

– Я останусь там, куда меня привяжет украденная вещь.

– Именно.

Я достаю сумку из-под плаща.

Василиса перестаёт дышать.

Вот оно.

Я видел её злость. Видел боль. Видел презрение. Но это другое – голод. Такой страшный, что у меня стягивается кожа на руках.

Она делает шаг.

– Стой.

Замирает.

Я кладу сумку на стол, не выпуская ремня из руки.

– По закону магии, кто владеет кожей, владеет ведьмой, – говорю я. – Так?

Её взгляд поднимается к моему лицу.

– Так говорят люди.

– А правда?

– Правда хуже.

– Для кого?

– Для того, кто думает, что вещь можно украсть без последствий.

Я улыбаюсь.

– Последствия я люблю. Они доказывают, что поступок был важным.

– Ты щенок, который нашёл волчью кость.

– Может быть.

Я наклоняюсь к ней.

Она стоит неподвижно, но в глазах ходит тёмное движение. Чешуя, вода, ночь под камнем.

– Ты сможешь мне стать царём, – говорю я. – А потом я верну тебе кожу.

Тишина.

Василиса смотрит на меня очень долго.

Потом улыбается.

Без радости.

Без надежды.

Так, будто я наконец сказал что-то по-настоящему смешное.

– Ты не станешь царём, Иван.

– Стану.

– Нет. – Она делает паузу. – Ты станешь раной, которую я буду чесать до кости.

ГЛАВА 2. Закон кожи

Василиса

Вода в лохани серая от золы и трав. Старая женщина делает вид, что не смотрит на мои плечи.

Я делаю вид, что не хочу утопить её в этой лохани.

У обеих выходит плохо.

– Руки подними, царевна, – говорит Аграфена.

Царевна.

Слово цепляется за мокрую стену, как плесень. Я поднимаю руки. Не потому что она приказала. Старуха не имеет надо мной власти. Пока.

Она трёт мне спину грубой холстиной. На третьем движении замирает. Пальцы касаются места между лопаток, где кожа всё ещё не решила, человек я или нет.

– Там что?

– Спина.

– Не спина там.

Я поворачиваю голову.

Аграфена крестится мокрой рукой.

На её запястье красная нить. Оберег от дурного глаза. Узел завязан неправильно: просит не защиты, а болезни. Кто-то в тереме желает ей долгой боли в суставах.

Я могла бы сказать.

Не говорю.

Пусть люди носят то, что заслужили.

– Если боишься, уйди, – говорю я.

– Царевич велел вымыть.

– Царевич велел тебе не умереть?

Она сжимает губы.

У неё смелость старых служанок: маленькая, костлявая, бессмертная от привычки к чужим приказам.

– Видала я девок страшнее тебя, – говорит она. – После родов, после пожара, после мужниных кулаков. Тебя хоть мыть удобно. Кости на месте.

Я смотрю на неё дольше.

Она опускает глаза первой, но не отступает.

– Волосы расчеши, – говорю я.

– Сама знаю.

Она знает.

Пальцы у неё сухие, цепкие. Она разбирает мои волосы медленно, прядь за прядью, вытягивает из них мох, хвою, крошечную птичью косточку. Когда гребень задевает кожу у виска, я вижу Ивана не глазами.

Он внизу, в малой зале. Ходит от стены к стене. Сумка с кожей лежит на столе перед ним. Он не открывает её. Боится, что она посмотрит в ответ.

Хорошо.

Пусть боится.

– Больно? – спрашивает Аграфена.

Я возвращаюсь в тело.

Гребень застрял в колтуне.

– Нет.

– Врёшь.

– Да.

Она фыркает.

Люди странны. Боятся правды, но радуются, когда им дают маленькую честность, которую они могут пережить.

После купания мне дают платье. Серое, простое, с закрытым горлом. На рукавах пахнет лавандой и мышинным гнездом. Аграфена стягивает шнуровку так крепко, будто платье может удержать то, что под ним.

Не может.

Я чувствую свои границы.

Они новые.

Семь шагов от Ивана, если кожа при нём. Иногда больше, если он забывает обо мне. Иногда меньше, если касается свёртка. Дверь можно открыть. Окно можно разбить. Ногу за порог можно вынести.

А потом тело возвращается.

Не сразу. Закон любит дать надежду, прежде чем ударить. На восьмом шаге под рёбрами натягивается нить. На девятом становится трудно дышать. На десятом ноги перестают быть моими.

Я проверяю это ночью.

Иван думает, что запер меня в верхних покоях.

Дверь закрыта снаружи. Железная задвижка. Старый замок. Смешно. Железо служит людям, потому что не помнит, чем было в земле.

Я кладу ладонь на дверь.

– Откройся.

Замок щёлкает.

Аграфена, дремлющая на табурете у стены, вскакивает. На груди у неё деревянный крестик, в руке свеча. Пламя дрожит так же, как её подбородок.

– Куда?

– Считать.

– Что считать?

– Шаги.

Она не понимает.

И хорошо.

Я выхожу в коридор. Половицы скрипят под босыми ступнями. Дом старый, сонный, полный чужих дыханий. Внизу храпит стражник. В стене скребётся мышь. За окном речка говорит с камнями.

Один шаг.

Два.

Пять.

Семь.

На восьмом боль поднимается в грудь.

На девятом я останавливаюсь, потому что воздух превращается в тонкую проволоку. Иван спит внизу. Я чувствую его сон: тёмная комната, тяжёлый стол, мужская рука проходит мимо детской головы и ложится на плечо другому мальчику.

Отец.

Значит, вот где у него мягкое.

Я делаю десятый шаг.

Колени подламываются.

Аграфена вскрикивает и роняет свечу. Пламя касается дорожки, но гаснет, будто его лизнули холодным языком.

Я стою на четвереньках посреди коридора и смеюсь. Тихо. Неправильно. От боли, от злости, от радости, что закон хотя бы показывает зубы, а не прячет их.

Снизу раздаётся удар. Потом шаги.

Иван появляется на лестнице с ножом в руке и без кафтана. Волосы растрёпаны. На лице сон, сорванный вместе с кожей.

– Что ты сделала?

Я поднимаю голову.

– Считаю.

Он смотрит на меня, на Аграфену, на открытую дверь.

– Вернись в комнату.

Тело поднимается.

Шаг назад.

Ещё.

Нить слабеет.

Каждое возвращение хуже побега.

Иван подходит ближе. Слишком близко для человека, который видел, как я двигаюсь без кожи.

– Ты можешь открывать замки.

– Ты можешь красть святыни. У всех свои таланты.

– Ты могла уйти?

– Нет.

Он слышит правду.

Это его успокаивает.

Глупый.

Правда не бывает безопасной только потому, что она удобна.

Он провожает меня обратно сам. Не касается, но идёт у плеча. В комнате Аграфена суетится с новой свечой и шепчет молитвы так быстро, что слова слипаются.

– Выйди, – говорит Иван.

Старуха исчезает.

Дверь закрывается.

Я стою у окна. Он у стола. Между нами семь шагов, может, меньше. Ночь снаружи пахнет водой и мокрой корой.

– Объясни закон, – говорит он.

Я молчу.

Он сжимает челюсть.

– Василиса.

Имя в его голосе почти приказ, но ещё нет. Мне интересно, где у него та граница, за которой желание становится насилием. Люди редко знают её в себе: переходят, а потом удивляются крови на сапогах.

– Ты уже понял достаточно, – говорю я.

– Недостаточно.

– Для чего?

– Чтобы не быть дураком.

– Поздно.

Он делает шаг.

Я не отступаю.

– Кто владеет кожей, владеет телом, – говорю я. – Не мыслями. Не памятью. Не ненавистью. Только телом и силой, если умеет звать её правильно. Ты не умеешь.

– Научусь.

– Обожжёшься.

– Не впервые.

Я смотрю на его руки. На костяшках свежие ссадины. Не лесные. Старые, поверх старых. Мужчина, который бьёт стены, когда не может ударить людей.

– Кожа вернётся ко мне, если я коснусь её без твоего приказа, – говорю я. – Поэтому ты прядешь её. Если кожа сгорит без меня, я стану смертной: слабой, человеческой до конца. Если её разрежут, меня будет резать вместе с ней. Если её отдадут другому, закон перейдёт к нему.

Иван слушает очень тихо.

– Значит, мне нельзя её терять.

– Тебе нельзя было её брать.

– Это разные вещи.

– Пока.

Он улыбается краем рта.

В этом лице легко понять, почему люди идут за ним. Не потому что он добрый. Добрых любят за ужином и забывают, когда приходит голод. Иван голоден так ясно, что рядом с ним даже сытые вспоминают свои пустоты.

Опасный мальчик.

Нет. Не мальчик.

Мальчик не спрятался бы в яме у священной роши. Не дождался бы, пока ведьма снимет силу. Не взял бы кожу голыми руками.

– Ты сказала, сила слушается владельца, если он умеет звать её правильно, – говорит он.

– Как?

Я позволяю себе улыбку.

– Ласково.

Он почти смеётся.

– Я серьёзно.

– Я тоже.

Он отворачивается к окну.

И тут я толкаю.

Не рукой.

Сном.

Я беру то, что увидела на девятом шаге: тёмную комнату, тяжёлый стол, детское ожидание, мужскую ладонь, прошедшую мимо. Вытягиваю из памяти Ивана нитку. Не рву. Только трогаю.

Он замирает.

Плечи каменеют.

– Что ты делаешь?

Голос у него ниже.

Я подхожу на шаг.

Нить между нами не мешает. Наоборот, открывает путь. Его страх не прячется глубоко. Он живёт почти у кожи, прикрытый злостью, как рана грязной тряпкой.

Я показываю ему отца.

Царь Гордей стоит в дверях. Ещё не старый. Широкий, тяжёлый, с седыми прядями в бороде. Два мальчика у стола – Борис и Фёдор. Третий стоит в тени и держит деревянного сокола с отломанным крылом.

Гордей проходит мимо третьего.

Не смотрит.

Рука ложится на плечо Бориса.

«Вот мой сын».

Маленький Иван не двигается.
Взрослый Иван делает вдох так резко, будто ему вонзили нож под ребро.
Я усиливаю видение.
Комната темнеет. Смех братьев растёт. Деревянный сокол в детской руке ломается окончательно. Отец всё равно не оборачивается.
– Довольно.
Не приказ.
Просьба.
Я улыбаюсь.
Тогда он поворачивается и хватает меня за горло.
Тело успевает обрадоваться. Наконец. Прямой вред. Прямая ошибка. Сейчас я проверю, можно ли вывернуть ему пальцы, если он сам начал.
Но он не сжимает.
Только держит.
Большой палец у ямки под челюстью. Тёплый. Живой. Дрожащее давление на коже. Его лицо близко, глаза тёмные, он почти касается носом моего виска.
– Ещё раз войдешь в мою голову, – говорит он, – прикажу тебе забыть собственное имя.
Я могла бы сказать, что он не сможет. Что имя старше кожи. Что ведьмы прячут настоящие имена там, где мужские руки не достают.
Но его пальцы на горле.
И я чувствую его страх.
Не передо мной. Перед тем, что я увидела.
Это лучше крови.
– Попробуй, – говорю я.
Он отпускает.
На коже остаётся тепло его ладони. Я ненавижу это сильнее боли.
Иван отступает, но не уходит. Несколько мгновений стоит ко мне спиной. Потом вытирает рукой нос.
На пальцах кровь.
Мой сон прорезал его изнутри.
Он смотрит на кровь. Потом на меня.
Я жду ярости.
Вместо неё в его лице появляется то же выражение, что в роце, когда он понял закон кожи. Ужас, переросший в желание.
– Покажи мне ещё, – говорит он.
Комната становится меньше.
Я смеюсь тихо, чтобы он не услышал, как близко это к рычанию.
– Нет, Иван. За следующую правду ты заплатишь дороже.

ГЛАВА 3. Невеста из рощи

Иван

Утром я решаю жениться на ведьме.

Решение приходит некрасиво. Не под колокольный звон, не с солнцем на лице, не после ночи, где мужчина якобы понимает своё сердце. Я понимаю другое: если привезу Василису ко двору как пленницу, её у меня заберут к вечеру. Если как диковину – к полудню. Если как оружие – отец велит сломать рукоять и проверить, можно ли сделать такую же.

Но жена.

Жена царевича – это уже не вещь на столе.

Это оскорбление, с которым приходится разговаривать.

Я спускаюсь в залу ещё до рассвета. Мирон уже там. Спит сидя у стены, но глаза открывает до того, как я называю его имя. Хороший солдат либо не спит, либо врёт, что спал.

– Коня, – говорю я. – И гонца.

– Куда?

– К столице.

Он встаёт.

– Что передать?

Я беру со стола кубок с вчерашним вином. Оно кислое, мутное. Пью всё равно.

– Младший сын царя Гордея возвращается ко двору. С невестой.

Мирон смотрит так, будто я сказал, что возвращаюсь с отрезанной головой старшего брата в мешке.

Не спрашивает.

Почти.

– Род невесты?

Я ставлю кубок.

– Древний.

– Имя?

– Василиса.

– Отчество?

Улыбка выходит сама.

– Спроси у неё сам.

Мирон не улыбается.

– Лучше без отчества.

– Вот и я думаю.

Через час весь терем шевелится. Аграфена достаёт из сундуков ткани, которые явно берегла на собственные похороны. Служанки бегают с горячей водой. Во дворе ругается конюх. Мирон выбирает двух людей для дороги.

Василиса сидит у окна в верхней комнате и расчёсывает волосы костяным гребнем.

Она уже знает.

Я не говорил. Но в доме каждая доска любит сплетни. Или она слушает через змей, мышей, кровь в стенах. С ней никогда нельзя быть уверенным.

– Нет, – говорит она, когда я вхожу.

– Я не спрашивал.

– Люди обычно спрашивают женщину перед свадьбой. Для приличия.

– Ты не женщина.

Гребень замирает.

Тихий удар.

Удачный.

Я жду, что она оскалится. Вместо этого Василиса медленно кладёт гребень на подоконник.

– Повтори.

Лучше бы она разозлилась громко. На громкую злость легко ответить приказом.

Я закрываю дверь.

– Ты не обычная женщина.

– Поздно исправлять.

– Ты ведьма.

– И это делает меня удобнее для брака?

– Для моего – да.

Она встаёт.

Серое платье Аграфены сидит на ней плохо: узко в плечах, просто у горла, слишком по-человечески. Но Василиса носит его так, будто это траурный наряд, выданный палачу.

– Ты хочешь привести меня к царю как добычу с венцом на голове.

– Как жену.

– Как доказательство, что младший сын нашёл себе чудо в канаве.

– В священной роще.

– Уточнение не спасает.

Она подходит ближе.

Семь шагов давно стали нашим невидимым кругом. Я чувствую, где он проходит, даже когда не считаю. Кожа под плащом помогает. Иногда кажется, что она теплеет, если Василиса смотрит на неё слишком долго.

– Ты понимаешь, что такое брак с ведьмой? – спрашивает она.

– Примерно то же, что брак с царевной. Кровь, клятвы, родня, которая хочет тебя убить.

– У меня родня мёртвая.

– Значит, тише на пиру.

Она улыбается.

Нет. Не улыбается. Показывает, что могла бы.

– Ты не знаешь законов, Иван.

– Объясни.

– Брачная клятва старше царских указов. Если я свяжу её с кожей, ты получишь не жену, а пожар в доме.

– Тогда не связывай.

– Прикажешь?

Вот оно.

Она ведёт меня туда, где я сам себе стану мерзок.

Я могу.

Сказать: «Согласись». Сказать: «Дай клятву». Сказать: «Будь моей женой». И её тело послушается, рот произнесёт слова, пальцы примут кольцо, шея склонится перед алтарём.

А потом всю жизнь каждое её дыхание рядом будет напоминать: ты не получил согласия. Ты получил звук.

Я злюсь.

На неё.

На себя.

На то, что разница вообще имеет значение.

– Да, – говорю я.

Она слегка наклоняет голову.

– Что именно?

– Я приказываю тебе стать моей женой.

Слова падают между нами тяжело.

Мне кажется, сейчас комната треснет. Или она. Или я.

Василиса закрывает глаза.

Сначала ничего.

Потом её тело выгибается назад так резко, что я шагаю к ней без мысли. Она не падает: упирается рукой в стену. На губах появляется кровь – зубы прокусили нижнюю губу изнутри.

Боль ударяет меня в рот.

Я пробую кровь.

Её.

Моя губа цела.

Василиса открывает глаза.

В них нет слёз. Только такая ненависть, что я на миг вижу себя снаружи: мужчину в охотничьем кафтане, который стоит перед женщиной и держит её волю, как поводок.

Я хотел власти.

Получил.

Почему же так пахнет гнилью?

– Скажи, – произносит она очень тихо.

– Что?

– Скажи это снова. Послушай себя.

Я молчу.

Она делает шаг.

– Смелее, царевич.

– Ты сможешь мне стать царём, – говорю я вместо этого. – После коронации я верну кожу.

– Ложь.

– Сделка.

– Ложь, которой дали сапоги.

Я хватаю сумку с кожей.

Она сгибается, но не отступает. На этот раз боль приходит и ко мне: под ложечкой скручивается так, что темнеет в глазах.

Я отпускаю.

Плата растёт.

– Ты будешь моей женой, – говорю я. – Внешне. При дворе. Для отца, братьев, совета. В остальном можешь ненавидеть меня сколько влезет.

– Как щедро.

– Я не трону тебя без твоей воли.

Не знаю, зачем говорю.

Может, чтобы она перестала смотреть так.

Нет. Она смотрит ещё хуже.

– Ты уже тронул, Иван.

Тишина.

Потом за дверью Аграфена кашляет так громко, будто подавилась собственной смертью.

– Царевич, платье мерить надо.

Василиса не отводит взгляда.

– Заходи, – говорю я.

Старуха входит с двумя служанками и охапкой ткани. Видит кровь на губе Василисы. Видит моё лицо. Умнеет и молчит.

Платье цвета тёмного мёда. Слишком богатое для охотничьего терема, слишком старое для царского двора. Наверное, осталось от моей матери. Я не спрашиваю. Мать умерла, когда я был мал; всё, что от неё осталось, отец раздал церквям, старшим сыновьям и памяти. Мне достался терем.

Аграфена прикладывает ткань к Василисе.

Мёд становится ядом.

Василиса стоит с поднятыми руками, пока служанки крутятся вокруг. Шнуры, булавки, нижняя рубаха, тяжёлый пояс. Она не помогает и не мешает. Смотрит на меня через их плечи так, будто выбирает место, куда однажды войдёт нож.

– Волосы собрать? – спрашивает Аграфена.

– Нет, – отвечаем мы одновременно.

Старуха хмурится.

Василиса чуть улыбается.

Это хуже ссоры.

Когда женщины уходят, она остаётся в новом платье. Медовая ткань подчёркивает тёмные волосы, бледное лицо, красную ранку на губе. На миг я понимаю, каким её увидит двор.

Не чудовищем.

Соблазном, который пришёл босиком из леса и знает имена мёртвых.

И мне придётся делать вид, что я владею ею.

– Что? – спрашивает она.

– Думаю, сколько людей ты напугаешь ещё до ужина.

– Меньше, чем после.

Я смеюсь.

Не надо было.

Смех получается настоящим. Редкая вещь. Василиса слышит его и смотрит странно, будто нашла в ядовитой ягоде сладкую косточку.

В дверь стучат.

Мирон.

– Гонец ушёл. К полудню можно выезжать.

– Пусть готовят.

Он кивает и уходит.

Василиса подходит к столу, берёт мой нож, который я сам оставил слишком близко, и проверяет лезвие большим пальцем. В её руке нож выглядит как дома.

– Не можешь причинить мне прямой вред, – напоминаю я.

– Тебе – нет.

Она бросает нож. Он входит в деревянную стену рядом с моим плечом.

На волосок от уха.

Я не двигаюсь.

Она тоже.

Воздух между нами становится узким.

– Косвенный вред, – говорит она, – просторнее.

Я выдёргиваю нож из стены.

– Учту.

– Учись быстрее.

– Ты сможешь.

– Я буду ждать.

– Чего?

– Твоей первой настоящей ошибки.

Я подхожу.

Кожа под плащом теплеет.
Василиса смотрит на мой рот. Один миг. Меньше. Почти ничего.
Зато я вижу.
И она знает, что я вижу.
– Ты боишься двора, – говорю я.
– Я презираю двор.
– Это рядом.
– Для людей, может быть.
– Для тебя тоже. Ты потеряла кожу. Ты уязвима.
Она замирает.
Вот он, удар под рёбра.
– Повтори, – говорит она.
Я должен остановиться.
Конечно, не останавливаюсь.
– Ты уязвима.
Она улыбается почти ласково.
– А ты голоден.
Теперь замираю я.
В комнате тихо. За стеной служанка что-то роняет и тут же начинает шептать проклятия.
Во дворе ржёт конь. Обычный мир ещё пытается существовать вокруг нас, бедный дурак.
– Ты хочешь не трон, Иван. Ты хочешь, чтобы отец посмотрел и пожалел, что не выбрал тебя раньше.
У меня немеют пальцы.
Она подходит на шаг.
– Ты хочешь, чтобы братья подавились собственным смехом.
Ещё шаг.
– Ты хочешь войти в залу с чудовищем под руку и сказать: смотрите, что подобрал младший. Смотрите, чего вы боялись в лесу. Смотрите, кому оно служит.
– Замолчи.
Она замолкает.
Я сказал это тихо. Но как приказ.
Тишина ломается об её горло.
Глаза у Василисы становятся тёмными до края.
Я понимаю, что сделал, и ненавижу понимание, потому что оно не отменяет силы.
– Я отменяю, – говорю быстро. – Говори.
Она не говорит.
Не сразу.
Потом медленно облизывает кровь с губы.
– Научись хотеть честно, царевич. Твои приказы пахнут стыдом.
Я хватаю её за запястье.
Не грубо. Почти без силы. Но она смотрит на мои пальцы, и я отпускаю раньше, чем она успевает сказать.
Слишком много того, что нельзя называть, стоит рядом с нами.
Тогда это происходит.
Кожа в сумке бьётся.
Один раз.
Как сердце.
Мир проваливается.
Я стою в другом месте.

Под землёй. Стены медные, мокрые. Женщины поют без слов. Маленькая девочка с чёрными волосами держит ладонь на камне. Рядом женщина, похожая на Василису, только старше и мягче вокруг глаз. Она говорит: «Сила не в зубах, змеёныш. Сила в том, что ты можешь ждать дольше охотника».

Видение обрывается.

Я снова в комнате. Держусь рукой за край стола.

Василиса белая, как мел.

– Что это было? – спрашиваю я.

– Не твоё.

Голос у неё сорван.

Я видел её.

Маленькой.

Не ведьму. Не пленницу. Ребёнка у медной стены.

Она видела тоже. Понимаю по лицу.

– Что ты увидела? – спрашиваю я.

Василиса смотрит на меня не как на вора. Хуже. Как на открытую рану, в которую можно заглянуть.

– Мальчика с деревянным соколом, – говорит она.

Я отворачиваюсь.

Поздно.

Она уже внутри.

И я внутри тоже.

К полудню мы выезжаем к столице.

Мирон едет впереди. Двое стражников за нами. Аграфена осталась в тереме и провожала Василису так, будто хоронит меня.

Василиса сидит на коне рядом. Держится уверенно, хотя седло ей чужое. Волосы распущены. Медовое платье укрыто тёмным плащом. На губе тонкая рана.

Дорога к столице широкая, грязная, знакомая до тошноты.

Отец получит моё письмо к вечеру.

Борис рассмеётся.

Фёдор задумается.

А я въеду во двор с женщиной, которую нельзя удержать и нельзя отпустить.

– Иван, – говорит Василиса.

Я поворачиваю голову.

Она редко зовёт меня по имени без яда. Поэтому слушаю.

– Когда ты поймёшь, что проиграл, не делай вид, будто тебя не предупреждали.

– Я не проиграю.

– Все так говорят в начале.

– А ты что говоришь в начале?

Она смотрит на дорогу.

– Имена.

– Зачем?

– Чтобы знать, кого звать из могилы, если он умрёт раньше, чем я закончу.

Я улыбаюсь, хотя спина холодеет.

– Моё запомнила?

Василиса смотрит на меня.

Долго.

Секунду лишнюю.

Потом отворачивается.

– Слишком хорошо. Подозрительно хорошо.

ГЛАВА 4. Двор встречает чудовище

Василиса

В Аэлоре не принято смотреть стражникам в глаза.

Я это знаю.

И всё равно смотрю.

Первый у ворот отводит взгляд почти сразу. Второй держится дольше: рядом стоят люди, а мужская гордость часто сильнее разума. Его зрачки расширяются, когда он замечает мои. Не сразу. Сначала волосы. Платье. Лицо. Потом глаза.

Умный испуг приходит позже красивого.

– Царевич Иван, – объявляет Мирон.

Ворота столицы открываются.

Город пахнет дымом, кислой капустой, конской мочой, мокрой шерстью и страхом. Страх здесь не свежий, не острый. Он старый, как жир на стенах. Им пропитаны лавки, храмы, мостовые. Люди боятся не одного чудовища. Они боятся, что чудовище станет поводом вспомнить, как хорошо горит сосед.

По обе стороны улицы собираются лица.

Сначала любопытные. Потом жадные. Потом осторожные.

Кто-то узнаёт Ивана и кланяется недостаточно низко. Он замечает. Не подаёт вида. Внутри – вспышка. Резкая. Горькая. Резонанс приносит её мне, как искру на ладонь.

Я могла бы раздуть.

Пока не трогаю.

Дворец стоит на холме над городом. Белый камень, красные крыши, узкие окна. В солнечный день он, наверное, выглядит торжественно. Под низким небом кажется черепом, которому забыли закрыть рот.

У главных ступеней нас встречают.

Не царь.

Конечно.

Старший брат выходит первым.

Борис широк в плечах, громок даже в молчании, красив той грубой, прямой красотой, которую любят дружинники. Крепкая шея, светлая борода; рука сразу ищет рукоять меча, если мир слишком тих. Он смотрит на Ивана и улыбается.

– Братец. Неужели лес отдал тебя обратно?

– Не всего, – отвечает Иван. – Я кое-что привёз.

Взгляд Бориса переходит ко мне.

Он не скрывает оценку. Мужчины вроде него считают прямоту честностью, когда на самом деле это просто лень прятать грязь.

– Вижу.

Я спешиваюсь сама, прежде чем Иван успеваешь предложить руку или приказать принять её.

Подол касается грязной ступени.

Город за спиной шепчет.

Борис ждёт, что я склоню голову.

Я не склоняю.

Его улыбка крепнет.

– Дикая?

– Голодная, – говорю я.

Он смеётся.

Люди вокруг тоже, потому что старший сын царя засмеялся, а значит, им разрешено. Иван не смеётся. Я чувствую его напряжение у себя под языком.

Второй брат появляется без шума.

Фёдор выходит из тени арки так, будто всё это время стоял там, просто мир не хотел его замечать. Он не такой плечистый, как Борис, зато на палец выше Ивана и одет темнее всех. Лицо спокойное. Глаза внимательные, почти мягкие.

Опасный.

Борис – топор. Фёдор – игла в шве.

– Иван, – говорит он. – Отец ждёт в малой тронной зале.

– Не вышел встретить? – спрашивает Иван.

– Ты же не победу привёз.

Пауза.

Маленькая.

Хорошо поставленная.

Иван улыбается, но внутри его задевает не сильно, зато глубоко. Старая рана узнаёт старый палец.

Фёдор поворачивается ко мне.

– Царевна?

Вопрос звучит мягко. Он ещё не знает, как меня назвать, и не хочет первым ошибиться.

– Василиса, – говорит Иван.

Фёдор берёт мою руку прежде, чем Иван успевает решить, дозволено ли это.

Его пальцы прохладные. Приличные. Слишком лёгкие.

Он наклоняется к руке.

Не целует.

Только касается губами воздуха над костяшками.

И в этот миг тонкая боль входит в запястье.

Я не дёргаюсь.

Серебро.

Игла спрятана между его пальцами. Крошечная, почти невесомая. Она успевает проколоть кожу и уйти внутрь. Серебро ползёт по жиле, узнавая чужое тело.

Фёдор поднимает глаза.

Он ждёт крика. Или дыма. Или пятен на коже.

Я улыбаюсь.

– Как ласково у вас встречают родню.

В его взгляде мелькает интерес.

Иван ничего не заметил. Пока. Он занят Борисом, ступенями, унижением отца, которое уже ждёт наверху.

Фёдор отпускает мою руку.

Игла остаётся внутри.

– Двор скучал по новым лицам, – говорит он.

– Значит, я буду милосердна. Не дам ему скучать.

Борис снова смеётся.

Фёдор нет.

Именно поэтому я запоминаю его первым.

Малая тронная зала меньше, чем я ждала, и холоднее, чем должна быть при таком количестве людей. Стены расписаны битвами, победами, казнями и венчаниями. Люди любят рисовать одно и то же разными красками.

Царь Гордей сидит на высоком кресле у дальней стены.

Он стар. Не дряхл – это разные вещи. Старость висит на нём, как шкура медведя: тяжело, но ещё греет. Борода густая, почти белая. Руки большие. На пальцах перстни, в ногтях синеватые тени. Глаза – Ивана, только без голода. У Гордея в глазах сытость человека, который слишком долго ел первым.

Иван останавливается перед ним.

Кланяется.

Не низко.

– Отец.

– Иван.

Одно слово.

Ни радости. Ни удивления.

Я чувствую, как оно входит в Ивана. Не ножом. Нож был бы честнее. Слово входит, как холодная вода в сапог: мелко, противно, неизбежно.

Гордей смотрит на меня.

Долго.

В зале стоят советники, бояре, священник с сухими губами, две женщины у окна. Все молчат.

– Это она? – спрашивает царь.

Иван чуть поднимает подбородок.

– Моя невеста. Василиса.

– Чья дочь?

Вопрос вежливый только снаружи.

Иван отвечает:

– Древнего рода.

– У древних родов есть имена.

Я делаю шаг вперёд.

Нить кожи натягивается, но Иван рядом, и тело позволяет. Серебро в запястье греется, как маленький уголь.

– Не все имена любят, когда их произносят в каменных залах, царь Гордей.

В комнате кто-то втягивает воздух.

Священник шепчет молитву.

Гордей смотрит на меня внимательнее.

– Смелая.

– Нет.

– Нет?

– Смелость нужна тем, кто считает смерть важным событием.

Борис, стоящий у стены, перестаёт улыбаться.

Фёдор смотрит на моё запястье.

Иван чувствует перемену и бросает на меня короткий взгляд: осторожнее.

Как мило.

Он думает, я пришла сюда жить.

Гордей опускает руку на подлокотник. Перстни тихо стучат по дереву.

– Мой сын пишет, что хочет жениться.

– Ваш сын часто хочет то, что плохо лежит.

Пауза.

На этот раз тишина острее.

Иван делает вдох. Резкий. Почти смех.

Гордей смотрит на него.

– Ты позволишь ей говорить с отцом так?

Иван должен склонить голову. Извиниться. Приказать мне молчать. Все ждут этого. Даже я жду, хотя надеюсь на худший вариант: приказ даст мне новую цель.

Он улыбается.

– Пока она говорит правду, мне трудно возражать.

Впервые царь видит его.

Не сына, стоящего третьим у двери. Не мальчика с землями на болоте. Мужчину, который привёз в залу чужую опасность и не прячет её за спиной.

Гордею это не нравится.

Значит, мне нравится.

– Свадьба через три дня, – говорит Иван.

В зале поднимается шум.

Борис делает шаг.

– Через три дня? Ты с ума сошёл?

– Медлить неприлично.

– Ты даже не назвал её род.

– На свадьбе назову.

Фёдор тихо говорит:

– Отец, столь скорый брак может вызвать слухи.

– Слухи уже вышли к воротам смотреть на мои сапоги, – говорит Иван. – Пусть хотя бы получат праздник.

Он играет.

Не так плохо, как я ждала.

Грубее Фёдора. Холоднее Бориса. В его словах мало придворной вязи, но есть то, чего нет у братьев: дерзость голодного, которому нечего терять, кроме старого унижения.

Гордей это тоже слышит.

– Ты просишь моего благословения? – спрашивает он.

– Нет, отец.

Снова тишина.

Иван стоит прямо.

– Я сообщаю о решении. Благословение сделает его красивее.

Вот теперь Борис смеётся уже зло.

– Младший царевич нашёл девку в лесу и решил играть в царя.

Я чувствую, как Иванова злость поднимается.

Быстро.

Слишком быстро. Быстрее, чем нужно.

Я могла бы толкнуть. Один шёпот через резонанс – и он бросится на брата в тронной зале. Ударит. Проиграет. Борис сильнее. Гордей увидит мальчика, не правителя.

Я не толкаю.

Пока.

Вместо этого говорю:

– Если царя можно сыграть, царевич Борис, значит, роль не так сложна.

Борис поворачивается ко мне всем корпусом.

– А ты кто в этой игре?

Серебро в запястье доходит до локтя.

Боль становится белой.

Я улыбаюсь краем рта.

– Та, кто знает, где прячут змей зимой.

Фёдор слышит второе дно. Гордей тоже. Священник бледнеет.

Иван неожиданно встаёт между мной и Борисом. Не заслоняет полностью. Только на полшага. Движение маленькое, но зал замечает.

Он защищает собственность, говорю я себе.

Не меня.

Собственность.

– Три дня, – повторяет Иван. – Или двор хочет, чтобы я жил с женщиной без венца? Как-то это не по-божески.

Сухогубый священник поперхнулся молитвой.

Гордей устало поднимает руку.

– Хватит. Свадьба будет. Через три дня. До тех пор невеста останется в женских покоях.

Нить внутри меня дёргается.

Женские покои могут быть далеко. Слишком далеко от кожи, если Иван не пойдёт рядом.

Царь проверяет. Сам того не зная, но проверяет.

Иван отвечает сразу:

– Она останется в моих покоях.

Шум взрывается.

Борис говорит что-то грубое. Священник громче молится. Советники шепчутся. Женщины у окна закрывают рты руками.

Гордей не повышает голос.

– До свадьбы?

– До свадьбы.

– Ты позоришь дом.

– Дом пережил хуже.

Вот тут он ошибается.

Я чувствую, как старая царская ярость поднимается в Гордее. Не вспышка Бориса. Не игла Фёдора. Это медведь, который вспомнил, что у него ещё есть зубы.

– Осторожнее, Иван.

Имя звучит как удар.

Иван склоняет голову.

– Да, государь.

Он отступает вовремя.

Не ломается. Но отступает.

Гордей смотрит на меня ещё раз.

– Невеста младшего сына будет жить в северном крыле. Царевич Иван – рядом, в гостевых покоях. Доволен?

– Безмерно, – говорит Иван.

Лжёт так плохо, что почти красиво.

Нас отпускают.

Когда мы выходим из тронной залы, шум остаётся за дверями, как потревоженный улей.

В коридоре Иван хватает меня за руку.

Ту самую.

Серебро вспыхивает.

Я едва не падаю.

Он успевает удержать.

На этот раз касается не как хозяин. Как человек, который поймал чужую боль раньше мысли.

– Что?

– Ничего.

– Ложь.

Я хочу выдернуть руку, но пальцы не слушаются. Не из-за приказа. Из-за серебра.
Иван смотрит на запястье.
Тонкая точка прокола уже почернела.
Его лицо меняется.
– Кто?
Я смотрю через коридор.
Фёдор стоит у окна в конце галереи. Один. Спокойный. Свет ложится на его волосы мягко, как на икону перед пожаром.
Он видит, что мы смотрим.
И улыбается.
Не мне.
Ивану.
– Твой брат ласково здоровается, – говорю я.
Иван отпускает мою руку так осторожно, будто она может рассыпаться.
– Серебро?
– Да.
– Насколько плохо?
Я прислушиваюсь к телу. Игла ползёт выше, к плечу. Если дойдёт до сердца, человеческая оболочка начнёт трескаться. Будь я с кожей, выплонула бы металл через рану. Сейчас я слабая, и это слово унижает больше боли.
– Достаточно, – говорю я.
Иван смотрит на Фёдора.
Впервые за всё время я вижу на его лице не обиду младшего сына. Не голод. Не злость, которой бьют стены.
Расчёт.
Холодный.
Внятный.
Он подаёт мне руку.
– Пойдём.
– Куда?
– В мои покои.
– До свадьбы? Как неприлично.
– Я вырежу из тебя серебро, Василиса.
Он говорит это тихо.
Без насмешки.
Без приказа.
Я должна была бы ответить ядом.
Должна была бы.
Но серебро движется под кожей живой нитью, а Иван держит ладонь открытой и не смеет касаться без моего выбора.
Я кладу свою руку в его ладонь.
На одно дыхание.
Только чтобы дойти.
Только потому что иначе упаду.
Он сжимает пальцы.
И в этот миг боль бьёт в него через связь.
Иван вздрагивает, но не отпускает.
Хорошо.
Пусть несёт часть.

Пусть знает, каково это – держать чужую кожу у сердца.

ГЛАВА 5. Серебро под кожей

Иван

Я веду её через западную галерею и впервые понимаю, что дворец умеет смотреть.

Не люди. Стены.

В каждом тёмном стекле, в каждом золотом цветке на резной раме, в каждом узком про свете между шторами что-то прячется и ждёт, когда я сделаю неверный шаг. При дворе даже камень слушает не хуже исповедника. Слуги уводят лица вниз, но плечи у них слишком неподвижные. Женщины у колонн не шепчутся, и это хуже шёпота.

Василиса идёт рядом.

Не за мной.

Рядом.

Серебро движется у неё под кожей, и я чувствую это своей рукой, хотя держу её только за пальцы. Тонкая холодная нить скользит под её запястьем: то впивается в сухожилие, то ищет дорогу выше – к локтю, к плечу, к горлу.

Она не хромает.

Не морщится.

Только губы у неё стали слишком бледными, а там, где она прикусила их раньше, кровь уже подсохла тёмной коркой.

Я сжимаю её пальцы крепче.

Она поворачивает голову на одно дыхание.

– Если сломаешь, – говорит тихо, – придётся самому носить.

– Я не ломаю то, что мне нужно.

– Именно поэтому люди и ломают чаще всего.

Я должен бы ответить. Я умею. С детства учился оставлять за собой последнее слово, даже если оно мелкое, злое, дешёвое. С братьями иначе не выжить. С отцом иначе тебя не заметят.

Но сейчас у меня во рту привкус чужой крови.

Её.

Моей.

Не понимаю.

И от этого злюсь сильнее.

У моих покоев стоят два стражника. Оба мои – из тех, кто служил мне ещё до Василисы, когда имя младшего царевича значило только одно: за службу платят хуже, чем у Бориса, и бьют чаще, чем у Фёдора. Один открывает дверь, второй старается не смотреть на руку Василисы.

Зря старается.

Серебряная нить под кожей вспухает, словно червь, и исчезает у косточки запястья.

Стражник бледнеет.

– Выйти всем, – говорю я.

– Царевич...

– Всем.

Они уходят.

Я запираю дверь.

Василиса медленно высвобождает руку из моей. Не сразу. Сначала пальцы скользят по ладони, оставляя прохладный след. Потом она отходит к столу. Там лежат карты западных земель, два неотвеченных письма от сборщиков податей и нож для вскрытия печатей.

Она берёт нож.

Я делаю шаг.

Она поднимает на меня глаза.

– Не подходи так резко. Я и без кожи могу оставить тебе второй рот.

– Закон не даст.

– Закон запретил мне вредить тебе напрямую. Сколько крови вытечет, прежде чем магия решит, что это вред?

Она держит нож правильно. Не как придворная женщина, которой подарили красивую игрушку. Не как кухарка. Лезвие вниз, кисть мягкая, большой палец на рукояти. В лесу она, наверное, убивала не хуже Бориса.

Нет.

Лучше.

Борис убивает громко.

Она, кажется, умеет делать так, чтобы человек сам подставил горло.

– Сядь, – говорю я.

Она улыбается.

– Приказываешь?

Слово скребёт по комнате. После роши, после терема, после дороги я уже знаю: приказ тянет невидимую жилу между нами. Он заставляет её тело слушаться, но каждый раз отдаёт чем-то назад – болью, вкусом, слишком коротким видением, которое мне не принадлежит.

Я не хочу платить перед ней.

Не сейчас.

– Прошу, – говорю я и ненавижу, как ровно это звучит.

Её улыбка меняется. На миг становится не злой, а внимательной.

Потом снова злеет.

– Вот как. Царевич умеет просить. Значит, день не потерян.

Она садится на край стола, будто это её комната, её карты, её ножи, её воздух.

Я подхожу медленно. Ставлю рядом таз с водой, вино, чистую ткань, пинцет из моей дорожной шкатулки. Отец подарил её Фёдору, когда тому исполнилось пятнадцать. Мне она досталась потом, когда Фёдор решил, что петли слишком тугие, а инструменты пахнут ржавчиной. Я тогда был рад. Братскую вещь можно было носить как кость в зубах.

Теперь хочется выбросить всё в огонь.

– Дай руку.

– Снова просишь?

– Пока да.

Она кладёт запястье на стол.

Кожа у неё тонкая, почти прозрачная у синей жилы. Я вижу, как серебро ползёт под ней – не металл, а живая мысль, чужая и холодная. Оно не просто отравляет. Оно ищет, куда вписаться, чтобы стать частью тела и оттуда есть её изнутри.

– Фёдор, – говорю я.

– Умный мальчик.

– Он не мальчик.

– Для меня вы все дети. Даже твой отец, хоть от него уже пахнет старой землёй.

– Ты видела его один вечер.

– Чтобы понять, как умирает человек, иногда хватает того, как он держит кубок.

Я не смотрю на её лицо. Нельзя. Там будет насмешка. Или боль. Оба хуже.

Я провожу пальцем рядом с серебряной нитью. Она дёргается под кожей, как рыба в мелкой воде.

Василиса втягивает воздух.

Коротко.

Только один раз.

– Больно?

– Нет. Мне приятно, когда в меня вползает освящённый металл, выкованный для разделки ведьм.

Я поднимаю взгляд.

– Ты всегда так говоришь?

– Когда хочу, чтобы человек перестал задавать глупые вопросы.

Я беру вино, лью на ткань, протираю нож. Потом её запястье.

Она не отводит руки.

Пахнет железом, травами и чем-то ещё. Не духами. В роще от неё пахло влажной корой и медью. Во дворце служанки пытались натереть её розовым маслом. Масло исчезло. Кора осталась.

– Если я режу здесь, – говорю я, – серебро уйдёт глубже?

– Если будешь медлить – да.

– Тогда молчи.

– Опять приказ?

– Нет. Совет человеку, который не хочет, чтобы нож дрогнул.

Она смотрит на меня.

Долго.

На этот раз в комнате ничего не происходит. Свечи не шипят. Дверь не стонет. Никто не врывается, чтобы остановить то, что не должно начинаться. Только её запястье под моей рукой – тонкое, прохладное, живое.

И я режу.

Кровь выходит тёмной.

Слишком тёмной для человека. Почти чёрной у края раны, а в глубине медной, будто в неё вмешали расплавленный металл. Серебро извивается. Уходит в сторону. Я вжимаю пальцы выше, перехватывая путь.

Василиса вздрагивает всем телом.

Боль бьёт мне в кисть.

Не как удар.

Как если бы под мою кожу тоже вошла нить и потянулась к локтю, пробуя меня на вкус.

Я стискиваю зубы.

– Чувствуешь? – спрашивает она.

Голос ровный. Слишком ровный.

– Да.

– Хорошо.

– Не радуйся.

– Я не радуюсь. Я учу.

Серебро пытается уйти вверх. Я подцепляю его пинцетом.

Василиса наконец издаёт звук.

Не крик.

Хрип.

Низкий, злой, почти звериный.

Я замираю.

– Тяни, – говорит она.

– Оно рвётся.

– Тогда рви.

Я тяну.

Серебро выходит из раны медленно, тонкой скрученной спиралью. Оно не похоже на иглу. Фёдор вложил в неё заговор, и заговор успел проснуться. Металл цепляется за мясо, за

кровь, за то, чему в человеческом теле Василисы не должно быть места. На миг из разреза проступает чешуя.

Настоящая.

Мелкая, тёмно-зелёная, с медным краем. Она раскрывается вокруг раны как защитный цветок.

Я забываю дышать.

Василиса замечает.

– Насмотрелся?

– Нет.

Это правда.

Слово выходит раньше, чем я успеваю придушить его.

Она перестаёт улыбаться.

Серебро выскальзывает последним живым волоском и падает на стол. Дымится. На дереве остаётся чёрный след.

Я бросаю пинцет в таз. Вода шипит.

Рана на запястье Василисы не закрывается. Кровь течёт по ладони, капает на край карты. На карте краснеет северная дорога, где стоит войско Бориса.

– Ткань, – говорит она.

Я беру полоску полотна.

– Не это.

– Что?

– Огонь.

– Ты хочешь прижечь?

– Хочу не умереть от серебряной гнили, царевич. Да, прижги.

Я зажигаю тонкую лучину от свечи. Держу над её рукой. Пламя качается, словно тоже не уверено, стоит ли касаться.

– Быстро, – говорит она.

Я прижимаю огонь к ране.

Василиса выгибается, но руки не отнимает. На лице ни слезинки. Только зубы сжаты так, что челюсть дрожит. Запах жжёной крови ударяет в горло. Чешуйки вокруг раны темнеют и уходят обратно под кожу.

Боль проходит через меня второй волной.

Сильнее.

Я хватаюсь свободной рукой за край стола.

Она видит.

– Ещё можешь вернуть кожу.

Я смеюсь.

Плохо.

Сухо.

– Сейчас? Когда ты ранена, а мой брат только что показал, что знает, чем тебя взять?

– Именно сейчас ты мог бы стать тем, кем себя считаешь.

– А кем я себя считаю?

Она наклоняется ближе.

Рана уже почернела по краям. Запах дыма между нами. Свеча бросает на её лицо дрожащий свет, и зрачки у неё кажутся длиннее.

– Не вором.

Слово попадает точно.

Я отступаю.

Внутри поднимается злость – старая, знакомая, удобная. Она всегда приходит, когда нечего ответить. Я беру серебряную спираль щипцами и кладу в пустую шкатулку. Фёдорова игла. Фёдоров подарок. Фёдоров первый промах.

– Ты не понимаешь двора, – говорю я. – Если я верну тебе кожу, тебя убьют раньше, чем ты дойдёшь до ворот. Фёдор не один. Борис почувет слабость. Отец прикажет посадить тебя под замок. Священники принесут соль и огонь. Тебя разорвут на доказательства.

– Как заботливо.

– Как разумно.

– Разум обычно пахнет страхом, когда его произносят мужчины с чужим артефактом за пазухой.

Я разворачиваюсь к ней.

– Думаешь, с кожей ты была бы свободна?

Она медленно спрыгивает со стола. Её пальцы скользят по повязке на запястье. Белая ткань быстро становится красной.

– Да.

– Фёдор всё равно нашёл бы способ подступиться.

– Убила бы Фёдора.

– Борис?

– Убила бы Бориса.

– Отец?

Она смотрит на дверь, за которой где-то далеко дышит дворец моего отца.

– Его особенно.

Я должен ужаснуться.

Но во мне что-то успокаивается.

Вот она. Правда без придворного сахара. Василиса не добрая пленница, которую нужно удерживать, чтобы спасти от чужих рук. Она – то, что в лесу поднимает голову из-под корня, когда зверолов слишком близко ставит ногу.

Если отпустить, она укусит.

Если держать – тоже.

Разница только в том, кто первым потеряет кровь.

– Ты не убьёшь царя, – говорю я.

– Прикажешь?

– Да.

Она улыбается, и я чувствую, как под рёбрами сжимается тонкая петля. Не боль. Предупреждение.

– Тогда говори.

Слова остаются во рту.

Глупо.

Недопустимо.

Слишком долго. Дольше, чем следовало.

Потому что если я произнесу приказ, закон послушается. Он вдавит мою волю ей в горло. Он сделает то, что я хочу. И боль заденет меня тоже.

Не это останавливает.

Останавливает то, что Василиса ждёт.

Она хочет, чтобы я сказал.

Хочет получить ещё одно доказательство, что я именно тот, кого она решила уничтожить.

Я меняю оружие.

– Ты не убьёшь его, потому что он пока нужен мне живым.

– Вот это уже честнее.

– И ты не будешь говорить с Фёдором наедине.

– О, нет. Ревность?

– Стратегия.

– Стратегия обычно не смотрит на рот.

Я замираю.

Она видит.

Конечно, видит.

С этим тоже нужно что-то сделать. С тем, как она стоит посреди моих покоев в чужом платье, с кровью на рукаве, с лицом человека, которого держат силой и который уже считает, сколько костей нужно сломать, чтобы выйти. С тем, что я помню её руку на своей ладони. С тем, что серебро вырывали из неё, а боль была моей.

Я подхожу к окну.

Внизу двор. Факелы у ворот. Дальше – чёрная линия города. Ещё дальше лес, где я нашёл её.

Нет.

Украл.

Слово Василисы не уходит.

– Завтра отец объявит день свадьбы, – говорю я.

– Быстро.

– После иглы Фёдора медлить нельзя.

– Ты женишься на мне, чтобы брат не украл у тебя добычу.

Я смотрю на стекло. В нём она отражается смутно. Не как женщина. Как тень у огня.

– Да.

– Благодарю за честность.

– А ты выйдешь за меня, чтобы остаться рядом с кожей.

– Да.

Мы оба молчим.

Странно, как легко становится от правды, если она достаточно уродлива.

У двери скребутся.

Я открываю не сразу. Сначала беру шкатулку с серебряной нитью и убираю в тайник за каменной плитой у камина. Василиса следит за движением моих рук. Хорошо. Пусть думает, что там я прячу важное.

Кожу я уже перенёс.

Дверь открывается.

Аграфена стоит на пороге, сгорбленная, серее обычного. В руках у неё поднос: отвар, чистые повязки, маленькая икона с ликом святого, которого в деревнях просят отогнать змей.

Она смотрит на Василису и быстро отводит глаза.

– Государь-царевич, царь велел передать: утром невесту поведут к портным. К полудню – к священнику. После заката – к нему на совет.

– Какой совет?

– О брачном договоре.

Василиса тихо смеётся.

Аграфена вздрагивает.

– Что ещё? – спрашиваю я.

Старая ключница мнёт край платка.

– Царевич Фёдор просил узнать, жива ли царевна.

Я улыбаюсь.

Аграфена бледнеет ещё сильнее. Она помнит эту улыбку. Я носил её после того, как Борис ударил меня при псарне, а я через три дня подмешал ему в седельное масло толчённый

мак. Конь не сбросил его. Нет. Просто лёг на полдороге перед всем двором, и Борис шёл пешком через грязь в красных сапогах.

Мелочь.

Но я тогда понял: унижение часто режет глубже ножа.

– Передай моему брату, – говорю я, – что царевна благодарит за подарок.

– Иван, – произносит Василиса.

Я оборачиваюсь.

Она стоит у стола. У запястья кровь снова проступила через ткань. Лицо бледное до синевы, но подбородок поднят.

– Не благодарит, – говорит она.

Аграфена прижимает поднос к груди.

Я смотрю на Василису.

Она могла бы промолчать. Дать мне вести игру. Но нет. Ей нужна собственная кость в этой пасти.

– А что передать? – спрашиваю я.

Она берёт со стола почерневший кусочек ткани, тот, которым я вытирал рану, и протягивает Аграфене.

– Скажи царевичу Фёдору, что серебро оказалось слишком тонким.

Аграфена не берёт ткань.

– Возьми, – говорю я.

Приказ не для Василисы.

Легче.

Ключница берёт ткань двумя пальцами.

– И ещё, – добавляет Василиса. – Пусть в следующий раз кладёт больше. Я люблю, когда мужчина не скупится.

Аграфена крестится так быстро, что едва не роняет поднос, и уходит.

Дверь закрывается.

Я начинаю смеяться.

Не потому что смешно.

Потому что Фёдор получит окровавленную ткань с её словами. Потому что утром весь двор узнает: ведьму укололи, а она не умерла. Потому что Василиса только что сделала мою игру опаснее и лучше.

Она смотрит на меня почти с интересом.

– Что?

– Ты понимаешь, что теперь он попытается сильнее?

– Конечно.

– И всё равно сказала?

– Я не мышь, чтобы притворяться мёртвой, пока кот играет.

Я подхожу к ней. Близко. Достаточно, чтобы увидеть, как пульс бьётся у неё в горле. Достаточно, чтобы она могла поднять руку и полоснуть ногтями мне по лицу. Достаточно, чтобы никто из нас не имел права делать вид, будто между нами только договор.

– Фёдор умнее Бориса, – говорю я.

– Зато пахнет хуже.

– Чем?

Она наклоняется едва заметно.

– Пустым местом под кожей.

Я не успеваю спросить.

За камином, в тайнике, где лежит серебряная нить, что-то тихо скребётся.

Мы оба поворачиваемся.

Каменная плита трескается от края до края. Из щели выползает тонкая струйка дыма.
Не серого. Зелёного.

Василиса шепчет слово на языке, который я не знаю.

Дым собирается в маленькую змею.

Серебряную.

Она падает на ковёр и, извиваясь, ползёт к двери.

– Это что? – спрашиваю я.

– Фёдоров след.

– Он может видеть через неё?

– Нет.

Змейка поднимает плоскую голову, будто слышит наши голоса.

Василиса медленно ставит босую ногу ей на хребет.

Серебро шипит.

– Теперь не может.

Она давит.

Металл распадается в пыль.

Я смотрю на её ногу. На тёмную кровь, просочившуюся через повязку. На край платья, забрызганный вином и копотью. На женщину, которую завтра назовут моей невестой.

– Василиса.

Она поднимает глаза.

Я должен сказать: ты принадлежишь мне.

Должен.

Вместо этого выходит другое.

– Не умирай до свадьбы.

Она улыбается так медленно, что это почти похоже на ласку. Почти.

– Тогда держи своих братьев дальше от моих вен.

ГЛАВА 6. Свадьба с кровью на губах

Василиса

Меня шьют в белое.

Не одевают. Именно шьют.

Портнихи не решаются касаться меня пальцами без напёрстков, поэтому ткань тянут, прикладывают, поднимают, прокалывают булавками, будто собирают саван вокруг живого тела. Белый тяжёлый шёлк ложится на плечи. Серебряные нити в вышивке убрали после первого же крика девочки-помощницы: она воткнула иглу у моего запястья, и ткань почернела вокруг прокола.

Теперь вышивают жемчугом.

Маленькие тусклые зёрна, добытые из речных раковин, пришивают к вороту, рукавам, подолу. Каждое похоже на выпавший глаз рыбы.

– Красиво, – говорит старшая портниха и тут же пугается собственного голоса.

Я смотрю на неё через медное зеркало.

Мне запретили обычные зеркала.

Иван понял быстро: стекло любит выдавать лишнее. В нём я иногда вижу не комнату, а трещины в законах. Не лицо, а то, что прячется за лицом. Медное зеркало слабее, старее, честнее. В нём моё отражение дышит с запозданием.

Сейчас оно улыбается раньше меня.

Портниха роняет иглу.

– Подними, – говорю я.

Она опускается на колени так резко, будто я ударила.

Мне хочется сказать: не бойся.

Я не говорю.

Люди редко верят правде, если она не удобна. А эта и вовсе ложь. Пусть боится. Страх делает руки точнее.

За дверью стоит Аграфена. Я чувствую её молитву, как чувствуют дым под дверью. Не слова. Тепло. Треск. Привычку. Она молится святому с обрубленным змеем под пятой и думает, что я не слышу.

Я слышу.

Молитвы всегда громче слов, потому что люди вкладывают в них то, что не осмеливаются произнести.

– Нитку подтяни, – говорю портнихе. – Здесь будет рваться.

– Не должно, царевна.

– Будет.

Она смотрит туда, куда я показываю: к левому боку, где под тканью медленно пульсирует место старой силы. Без кожи оно то спит, то просыпается. Вчера серебро под запястьем заставило тело вспомнить, чем оно было. Сегодня чешуя под ключицей держится дольше обычного. Я прижимаю плечо к ткани, чтобы скрыть блеск.

Смешно.

Меня ведут к алтарю, а я боюсь не брака. Боюсь, что чешуйка вылезет из-под воротника не вовремя.

Хотя нет.

Я боюсь другого.

Что клятва сработает.

Когда портнихи уходят, Аграфена входит с чашей травяного отвара. Лицо у неё строгое, но пальцы сжимают чашу слишком крепко.

– Пейте. Чтобы стоять.

– Думаешь, я упаду?

– Думаю, вы будете стоять из упрямства, даже если мёртвая.

Я беру чашу.

Отвар горький, с полынью и малиной. Деревенский. Не дворцовый. Такой дают женщинам после родов и мужчинам после драки, когда не хотят звать лекаря, чтобы не платить.

– Кто научил тебя этому сбору?

– Мать.

– Она ещё жива?

Аграфена крестится, но не потому что я спросила. Потому что ответ заболел.

– Нет.

– Борисовы люди?

Она смотрит на меня.

Молчание отвечает лучше.

Я пью ещё.

– Тогда зачем ты служишь царскому дому?

– А куда деваться простой бабе?

– В лес.

Аграфена хрипло смеётся.

– Лес не всех принимает.

Я смотрю на её руки. На узлы пальцев. На ожог у большого пальца. На старую белую линию у запястья. Не нож. Верёвка.

– Это правда.

Она замечает, куда я смотрю, и прячет руку в рукав.

– Иван велел передать, что перед венцом вы пойдёте к нему.

– Велел?

– Сказал.

Разница маленькая.

Слишком большая.

Я ставлю пустую чашу.

– Он учится.

– Чему?

– Делать вид, что не держит поводок.

Аграфена молчит. Я жду, что она снова перекрестится, но она только смотрит на меня усталыми глазами человека, который видел не один брак, купленный чужой волей.

– Царевна.

– Что?

– Если бы могли уйти... ушли бы?

Вопрос бьёт странно.

Не потому что сложный.

Потому что простой.

Я открываю рот, чтобы сказать да. Конечно, да. Я ушла бы в эту же минуту. Сорвала бы жемчуг, кожу портних, кожу дворца, кожу Ивана. Вернулась бы под корни, к камням, где поют медные жилы. Нашла бы тех, кто выжил. Выучила бы их злость заново.

Да.

Но между словом и горлом встаёт вчерашнее: Иван держит лучину у моей раны. Иван вздрагивает от моей боли и не отпускает. Иван не произносит приказ, хотя мог.

Я ненавижу это воспоминание за то, что оно мешает ответу.

– Ушла бы, – говорю я.

Голос ровный.

Почти.

Аграфена кивает, будто услышала именно то, что нужно.

– Тогда на свадьбе не смотрите на царя, когда будете клясться.

– Почему?

– Он любит замечать тех, кто врёт.

– А Иван?

– Иван любит замечать тех, кто говорит правду не полностью.

Уголок рта дрогнул.

– Ты умнее, чем показываешь.

– При дворе глупые долго не носят ключи.

Она уходит.

Оставляет после себя запах полыни и старой верёвки.

Я остаюсь одна.

Белое платье тяжёлое. Оно давит на бёдра, грудь, горло. На мне столько жемчуга, что я тихо звеню, когда дышу. Люди любят украшать жертву перед ножом. Так легче сказать себе, что это праздник.

Я подхожу к медному зеркалу.

Отражение смотрит на меня с запозданием.

– Ну? – спрашиваю я у него.

Оно улыбается.

Позади в зеркале на миг появляется роща. Камень. Кожа на камне. Мужская рука, берущая её.

Я сжимаю край стола так, что дерево темнеет под ногтями.

– Не сейчас.

Отражение послушно становится комнатой.

Дверь открывается без стука.

Иван входит в белом.

Не до конца.

Белый кафтан сидит на нём строго, но у воротника виден тёмный шнурок, на котором, я знаю, не кожа. Кожу он не носит у сердца сегодня. Слишком опасно. Зал будет полон глаз, священников и братьев.

У рукава спрятан нож.

Я вижу по посадке ткани.

– Невеста с оружием, жених с оружием, – говорю я. – Почти честный брак.

Он закрывает дверь.

– У тебя тоже есть нож?

Я поднимаю руку. Из рукава выходит медная шпилька, тонкая, длинная, с костяным шариком на конце.

– Для волос.

– Конечно.

Он смотрит на меня.

Не как на добычу. Не как на доказательство. Не как Фёдор, который всё время ищет место, куда можно вставить иглу.

Иван смотрит так, будто пытается запомнить, где я настоящая.

Это опаснее.

– Что? – спрашиваю я.

– Платье.

– Не нравится? Скажи портнихам. Они как раз ждут, что я их съем.

– Нравится.

Слово падает между нами неправильно.

Слишком просто.

Он тоже понимает. Челюсть двигается, будто он хочет забрать слово назад и не может.

– Мне нельзя нравиться, Иван.

– Тебе нельзя многое, если верить священникам.

– Я говорю не про священников.

Он подходит ближе. Шаг. Второй. Неспешно, чтобы я могла отступить, если бы закон давал мне настоящую возможность отступить.

Я не отступаю.

– Перед алтарём ты произнесёшь клятву, – говорит он.

– Я знаю обычаи людей. Вы любите заставлять богов слушать сделки, в которых они не участвовали.

– Слушай меня.

– Слушаю.

– Клятва должна пройти.

– Должна?

Он морщится.

– Василиса.

– Я выйду за тебя. Скажу слова. Улыбнусь, если нужно. Укушу священника только по большой просьбе.

– Не играй.

Теперь ясно.

Его страх.

Не на лице. Ни один мускул не выдаёт. Но связь дрожит тонко, как волос в воде. Иван боится не того, что я сорву свадьбу. Он боится, что я найду щель в словах.

Правильно боится.

– Какая именно часть тебя тревожит? – спрашиваю я. – Что я поклянусь быть верной твоему телу, но не твоей власти? Что обещаю идти рядом, пока ты жив, а потом отнесу твои кости в лес? Что назову тебя мужем, но не хозяином?

Он резко берёт меня за подбородок.

Не больно.

Достаточно, чтобы остановить речь.

Закон кожи вспыхивает где-то под рёбрами: я не могу ударить его. Не могу впиться зубами в сухожилие на его запястье, хотя оно так близко. Не могу согнуть шпильку и загнать в горло.

Но могу смотреть.

И смотрю.

Пальцы у него тёплые. После серебра всё человеческое тепло кажется наглым.

– Ты произнесёшь клятву так, чтобы двор её принял, – говорит он.

– Приказ?

– Условие сделки.

– Сделки, где у тебя моя кожа.

Он отпускает.

На коже остаётся тепло его пальцев. Я ненавижу тело за то, что оно помнит.

– Я не отдам её сегодня, – говорит Иван.

– Я не спрашивала.

– Но думала.

– Я всегда думаю о ней.

Он смотрит в сторону, и я понимаю: попала.

Ему неприятно знать, что всякий раз, когда я молчу, я не молюсь ему и не строю вокруг него желание. Я считаю шаги до кожи. Пробую законы. Запоминаю запахи. Ищу слабое место в его пальцах, сундуках, людях, сне.

– После свадьбы отец потребует доказательства, что ты не опасна для рода, – говорит он.

– Я опасна.

– Для них.

– Для всех.

– Для меня?

Я улыбаюсь.

– Особенно.

Он почти улыбается в ответ, но дверь распахивается.

Мирон стоит на пороге. Огромный, как плохо вырубленный дуб, с лицом человека, который предпочёл бы стоять под стрелами, чем между нами.

– Царевич. Время.

Иван кивает.

Потом протягивает мне руку.

Все хорошие истории врут в этом месте.

Там не бывает музыки, которая накрывает страх. Не бывает мягкого света, превращающего сделку в судьбу. Не бывает внезапной уверенности, что враг и есть единственный, кто поймёт.

Есть рука мужчины, который украл твою кожу.

Есть твоя ладонь, слишком холодная в его пальцах.

Есть коридор, полный людей, которые хотят увидеть, как ты споткнёшься.

Я кладу руку на его ладонь.

– Веди, муж.

Он чуть сжимает пальцы.

– Ещё нет.

– Тогда веди, вор.

Вот теперь он улыбается.

И это хуже.

Потому что я улыбаюсь тоже.

Палата венчания гудит.

Негромко. Под сводами собрали слишком много тел, и каждый делает вид, что пришёл праздновать, а не смотреть казнь без дыма. Впереди стоит царь Гордей. Старый, высокий, высохший, в золотом венце, под которым лицо кажется не царским, а похоронным. Рядом Борис. Широкие плечи, перевязанная рука после охоты, взгляд человека, который уже решил, куда ударит на первом же пиру. Фёдор держится в полутени у колонны. Его глаза находят моё запястье.

Я едва заметно приподнимаю рукав.

Показываю повязку.

Фёдор улыбается одними губами.

Он не разочарован. Нет. Он доволен тем, что серебро подействовало хоть немного. Значит, природа доказана. Значит, теперь он знает, какие двери открывать.

Священник начинает говорить.

Слова идут долго. О долге. О крови. О доме. О том, как жена становится частью мужа, а муж – стеной для жены. Люди любят строить стены из слов, чтобы не видеть решётки.

Иван стоит рядом.

Связь между нами натянута. Не приказ. Ожидание.

Когда священник соединяет наши руки красной лентой, я чувствую под пальцами пульс Ивана. Быстрый. Злой. Живой.

– Повтори, царевна, – говорит священник.

Я смотрю на его рот. Сухой. Тонкий. В углу белая крошка хлеба. Он боится меня меньше, чем хочет показать. Опасные люди часто путают веру с любопытством.

– Я, Василиса из рода...

Пауза.

В зале становится тише.

Какой род я должна назвать? Тот, что люди сожгли? Тот, что они вычеркнули из летописей? Тот, чьих женщин прятали под словами «нечисть», «падаль», «лесовая порча»?

Я чувствую, как Иван напрягается.

Скажи безопасно, шепчет через связь его страх.

Я кусаю внутреннюю сторону губы.

Кровь наполняет рот.

– Я, Василиса из рода Медной Матери, – говорю ясно.

Кто-то в зале тихо вскрикивает.

Священник белеет.

Царь Гордей не двигается, но пальцы на посохе сжимаются. Он знает это имя. Конечно. Старые убийцы лучше всех помнят, кого хоронили без могилы.

Иван не перебивает.

Умница.

– ...вхожу в дом Ивана, младшего сына царя Гордея, – продолжаю я. – Буду стоять рядом с ним перед кровью, огнём и землёй.

Священник быстро кивает, будто хочет протащить меня через слова до того, как кто-то поймёт, что происходит.

– Будешь ли верна ему?

Вот она.

Петля.

Закон кожи поднимается в горле, как рука из колодца. Иван владеет кожей. Иван желает клятвы. Магия брака древнее церкви, старше царских печатей. Если я скажу «буду», слово может лечь на меня второй цепью.

Я чувствую кожу где-то в дворце.

Далеко.

Скрытую.

Но живую.

Она слышит.

Я не могу молчать. Слишком много глаз. Слишком много законов вокруг. Человеческих. Магических. Голодных.

Я прикусываю губу сильнее.

Кровь стекает на подбородок.

Иван поворачивает голову.

Не полностью. Только настолько, чтобы увидеть.

Я говорю:

– Буду верна его пути до конца его власти.

Лента на руках нагревается.

Священник не понимает.

Иван понимает.

Поздно.

Кровь падает на каменный пол между нашими ногами. Одна капля. Вторая. Третья. Они не расплзаются. Собираются в крошечный знак, похожий на свернувшуюся змею.

Я наступаю на него подолом.

– Будешь ли чтить его дом? – торопится священник.

– Буду помнить всё, что его дом сделал.

Гордей кашляет.

Сухо.

Борис усмехается.

Фёдор перестаёт улыбаться.

Иван отвечает свою часть клятвы почти без запинки. Голос низкий. Ровный. Он обещает защищать меня перед людьми, давать мне имя и место, держать у своего очага.

Ни слова о свободе.

Ни слова о коже.

Конечно.

Когда священник объявляет нас мужем и женой, зал выдыхает.

Не с радостью.

С облегчением, что огонь пока не понадобился.

Иван поднимает мою руку к губам. Это должно выглядеть красиво. Царевич целует пальцы молодой жены. Люди любят такие картины: в них можно спрятать любую грязь.

Его губы касаются моих костяшек.

Через связь проходит короткий удар. Не боль. Не приказ.

Что-то голое и сердитое.

Я наклоняюсь чуть ближе.

– До конца твоей власти, – шепчу я.

Он не отпускает руку.

– Тогда мне придётся править долго.

– Попробуй.

Пир после венца пахнет жареным мясом, мёдом и чужими расчётами.

Меня сажают справа от Ивана. Не рядом с царицами рода, не среди женщин. Рядом с ним. Это его решение. Двор замечает и запоминает. Борис пьёт слишком быстро. Фёдор почти не пьёт. Гордей ест мало, но смотрит много.

На столе передо мной лежит лебедь с зашитым брюхом. Из него вываливаются каштаны и яблоки. Мёртвая птица, набитая сладостью. Очень по-людски.

Иван наклоняется ко мне.

– Ты изменила клятву.

– Она прошла.

– Не так, как я сказал.

– Ты сказал, чтобы двор принял.

– Василиса.

– Муж.

Он замолкает.

Слово попало в него странно. Не как ласка. Как нож, который неожиданно оказался тёплым.

Слуга наливает мне вино. Я не пью. В бокале отражается Фёдор.

Он поднимает свой кубок.

– За младшего брата, – говорит он достаточно громко, чтобы дальние столы притихли. – У него всегда был редкий дар находить то, что старшие не заметили.

Борис фыркает.

Иван берёт кубок.

– За старших братьев, – отвечает он. – Без них младшие быстро забывают, куда метить ножом.

Несколько мужчин смеются.

Борис не смеётся.

Фёдор наклоняет голову. Глаза у него спокойные. В них нет обиды. Только запись. Он складывает слова в копилку, чтобы потом купить ими чужую смерть.

Царь Гордей ударяет посохом о пол.

– Довольно.

Тишина падает сразу.

Вот она – настоящая власть. Не любовь. Не верность. Даже не страх перед силой. Привычка бояться до того, как успел подумать.

Гордей смотрит на меня.

– Невестка.

– Государь.

– Завтра придёшь ко мне после полудня.

Иван ставит кубок на стол.

– Отец, завтра...

– Я сказал не тебе.

Связь между нами натягивается.

Иван хочет спорить. Я чувствую это в пальцах, в зубах, в сухом жаре у себя под грудиной. Но он не может сорвать первый пир. Не сейчас.

Я улыбаюсь царю.

– Приду.

Гордей смотрит на мою губу, где кровь от клятвы ещё не до конца стёрта.

– Без сына.

Иван двигается.

Едва заметно.

Я кладу ладонь ему на рукав.

Не чтобы успокоить.

Чтобы остановить прежде, чем он сделает глупость.

Он смотрит на мою руку. На пальцы поверх белой ткани. На повязку у запястья. На жемчужный рукав, под которым я прячу шпильку.

Мгновение длится слишком долго.

Потом он садится ровнее.

– Как пожелает царь, – говорит он.

Хороший мальчик.

Учится.

Поздно ночью нас ведут в брачную горницу.

Сначала женщины. Потом мужчины. Песни. Шутки. Хлеб с солью. Слишком много рук, которые поправляют покрывало, свечи, чаши, подушки. Я стою у двери и думаю, что люди странные: делают из первой ночи толпу, чтобы потом назвать её близостью.

Иван терпит хуже меня.

У него лицо человека, который считает, кого потом накажет.

Когда последняя служанка ставит чашу с мёдом у кровати, Борис вдруг хлопает Ивана по плечу.

– Будь осторожен, брат. Если укусит – зови.

Смех в дверях.

Я поворачиваю голову.

– Не зови, – говорю я. – Я не люблю, когда мне мешают есть.

Смех обрывается.

Борис смотрит на меня.

На миг он хочет ударить. Я вижу, как тело принимает решение раньше разума. Плечо тяжелеет. Кулак закрывается.

Иван становится между нами.

Не полностью.

Достаточно.

– Спокойной ночи, брат.

Борис смотрит на него.

– Доживи до утра.

– Постараюсь.

Фёдор уходит последним. У двери он останавливается и смотрит на красную ленту, которую всё ещё не сняли с наших рук.

– Некоторые узлы, – говорит он, – легче затягиваются, чем режутся.

– Тогда не суй пальцы, – отвечает Иван.

Фёдор улыбается и закрывает дверь.

Щеколда ложится на место.

Песни уходят по коридору. Шаги стихают. Двор наконец оставляет нас.

В комнате остаются свечи, кровать и слишком много воздуха между мной и мужем.

Иван медленно снимает красную ленту с наших рук. На моей коже остаётся след. У него тоже.

Я смотрю на его запястье.

– Красиво. Почти ошейник.

Он бросает ленту в огонь.

Пламя вспыхивает зелёным.

Мы оба молчим.

Кровать огромная, с тяжёлым пологом, вышитым золотыми яблоками. На белой простыне рассыпаны сушёные травы: мята, зверобой, любисток. Для плодородия. Для желания. Для крепкого брака. Люди отчаянно верят, что травы могут сделать за них то, на что не хватает правды.

Я подхожу к окну.

Окно заперто. Конечно.

– Боишься, что выпрыгну?

– Здесь третий этаж.

– Я не спрашивала, высоко ли.

Иван снимает нож из рукава и кладёт на стол. Потом второй нож из сапога. Потом тонкую иглу из ворота.

Я смотрю с уважением, которого он не заслужил.

– Свадебный наряд царевича прекрасен.

– Твоя очередь.

Я вынимаю шпильку из волос. Потом вторую. Третью, медную, скрытую под жемчужной нитью. Маленький костяной крючок из корсажа. Тонкую пластину у левого бедра.

Иван смотрит на стол.

– Всё?

Я позволяю себе улыбку.

Он не верит.

Правильно.

– Всё, что ты найдёшь, если начнёшь искать.

Он отворачивается первым.

Это почти победа.

Я распускаю волосы. Шпильки больше не держат их, и тяжесть падает на спину. В медном зеркале у стены моё отражение задерживается на секунду, будто не хочет повторять движение.

Иван стоит у стола.

Не приближается.

Я чувствую его через связь. Злость. Усталость. Желание. Страх перед желанием. Желание злиться вместо того, чтобы бояться.

Бедный мальчик.

Нет.

Не бедный.

Опасный.

– Ты можешь лечь на кровать, – говорю я.

– Чтобы ты воткнула мне крючок в глаз?

– Я же положила его на стол.

– Один.

Улыбка сама трогает рот.

– Умнеешь, муж.

Он вздрагивает от слова снова. Ненавижу, что замечаю.

– Не называй меня так, если вкладываешь в это яд.

– Тогда как называть? Хозяин?

Тишина становится плотной.

Иван поворачивается.

– Нет.

Одно слово.

Сухое.

Резкое.

И настоящее.

Я могла бы ударить сейчас. Не телом. Словом. Сказать: но ты же им стал. Ты украл, приказал, привёл, связал. Не хочешь имени – не делай дела.

Но не говорю.

Потому что он знает.

И потому что знание иногда ранит лучше моего языка.

Я сажусь у окна. Платье шуршит вокруг, как сухая кожа.

– Тогда я буду звать тебя Иваном, пока ты не заслужишь худшего.

Он садится у стола, далеко от кровати.

– Щедро.

– Я сегодня замуж вышла. У меня праздничное настроение.

Свечи горят долго.

Никто не ложится.

За стеной дворец скрипит, стонет, шепчет. Праздник допивают где-то в нижних залах. Кто-то смеётся слишком громко. Где-то разбивается чаша. Где-то женщина говорит «не здесь» так устало, что я почти встаю.

Иван тоже слышит.

Его лицо каменеет.

– Дворец ест людей, – говорю я.

– Люди сами приходят с ложками.

– Ты тоже пришёл.

– Я родился в его пасти.

– И решил стать зубом?

Он смотрит на свои руки.

– Лучше зубом, чем мясом.

Так просто.

Так по-человечески.

Я почти понимаю.

Это не жалость. Жалость слишком мягкая и бесполезная. Это узнавание формы. У меня отняли кожу. У него с детства отнимали место, пока он не решил украсть чужое и назвать его судьбой.

Не одно и то же.

Никогда.

Но боль иногда говорит на схожем языке у разных чудовищ.

– Спи, Иван.

– Прикажешь?

– Советую человеку, который завтра будет делать вид, что управляет тем, чего не понимает.

Он откидывается на спинку кресла.

– А ты?

– Я буду смотреть на дверь.

– Думаешь, Фёдор придёт?

– Думаю, если придёт, то не через дверь.

Мы оба смотрим на пол.

Под ковром древние доски. Под досками камень. Под камнем, возможно, ходы. Под ходами земля. Под землёй медь.

Моя кожа где-то в этом дворце.

Она ждёт.

Я закрываю глаза на короткое дыхание и чувствую её далеко. Не место. Направление. Холод. Воск. Камень. Молитвы.

Усыпальница.

Я открываю глаза.

Иван смотрит на меня.

Он понял, что я что-то почувствовала.

– Что? – спрашивает он.

– Твой дворец полон мёртвых.

– Это не тайна.

– Не все мёртвые лежат тихо.

С потолка падает чёрная капля.

Прямо на белую простыню.

Иван вскакивает.

Капля расплзается, собирается в тонкую линию и ползёт к краю кровати. Ещё одна. Ещё. На потолке проступает влажное пятно, хотя над нами нет труб и дождя. Оно темнеет, раскрывается в форму ладони.

Не моей магии.

Я встаю.

– Что это? – спрашивает Иван.

– Поздравление.

– От кого?

Ладонь на потолке вытягивает пальцы. Каждый палец становится чёрной змеей. Они свисают вниз, не падая, как волосы утопленницы.

Я узнаю запах.

– От твоего брата, – говорю я. – Он решил проверить, девственна ли наша ночь от крови.
Иван берёт нож со стола.
– Фёдор?
– Нет.
Змеи раскрывают пасти. Внутри не зубы. Маленькие человеческие голоса.
Они начинают смеяться.
Громко.
Пьяно.
По-борисовски.
Иван бросает нож.
Лезвие входит в потолок. Змеи рассыпаются сажей.
На белой простыне остаётся слово, выведенное чёрными каплями:
ВЕДЬМА.
Я смотрю на него.
На слово.
На Ивана.
– Кажется, твоя семья приняла меня тепло.
Он подходит к кровати, срывает простыню и бросает её в огонь. Пламя чернеет, потом снова становится красным.
– Борис не умеет в тонкие заговоры, – говорит он.
– Зато умеет в грубые оскорбления. Иногда этого хватает.
– Он хочет, чтобы я сорвался.
– А ты?
Иван смотрит на дверь.
Пальцы на рукояти ножа белеют.
– Хочу пойти и выбить ему зубы.
– Плохая мысль.
– Знаю.
– Всё равно хочешь.
– Да.
Я подхожу ближе. Не вплотную. Почти.
– Тогда сядь.
Он смотрит на меня.
– Приказываешь?
– Нет. Предлагаю выбрать трон вместо зубов Бориса.
Связь между нами меняется. Не смягчается. Нет. Просто натянутая верёвка вдруг становится дорогой, по которой можно пройти.
Иван садится.
Медленно.
С трудом.
Я возвращаюсь к окну.
До рассвета мы больше не говорим.

ГЛАВА 7. Первая брачная ночь без сна

Иван

Утром в моём зеркале появляется чешуйка.

Не у неё.

У меня.

Я сначала думаю, что это сажа. После ночного Борисова фокуса вся комната пахнет горелой шерстью и мокрой золой. Простыню заменили перед рассветом. Слуги вошли молча, с лицами каменных идолов. Ни один не спросил, почему брачная постель сожжена в камине.

При дворе лишние вопросы живут меньше мух.

Я стою у умывальника, расстегнув рубаху, и вижу под ключицей тёмную точку. Провожу пальцем.

Не сажа.

Тонкая пластинка, гладкая у края и чуть шершавая в середине. Чёрная, с зелёным отливом. Маленькая. Почти незаметная.

Чешуйка.

Моя кожа вокруг неё не болит. Это хуже. Если бы болела, можно было бы назвать порчей. Проклятием. Болезнью. Выжечь. Вырезать. Передать лекарю и приказать молчать.

Но она лежит спокойно, будто всегда должна была быть там.

За ширмой шуршит ткань.

Василиса не спала. Я тоже. Ночь прошла между нами, как зверь между двумя охотниками: каждый слышал дыхание, но никто не сделал первый выстрел.

– Нашёл? – спрашивает она.

Я натягиваю рубаху.

Быстрее, чем нужно.

Она выходит из-за ширмы уже не в свадебном платье. На ней тёмно-зелёная нижняя рубаха и мой старый халат, который Аграфена почему-то отдала ей. На ней он выглядит как трофей. Рукава слишком длинные, пояс завязан небрежно, волосы влажные после умывания.

На запястье чистая повязка.

На губе снова ранка.

– Что именно? – спрашиваю я.

– Плату.

Я застёгиваю ворот.

– Не знаю, о чём ты.

– Лжец.

– Ведьма.

– Муж.

Она говорит это спокойно, а у меня в груди что-то нелепо сжимается. Я злюсь на сжатие. На неё. На утро. На чешуйку.

Особенно на чешуйку.

– Ты сделала это? – спрашиваю я.

– Если бы я могла менять твою кожу по желанию, начала бы с языка.

– Значит, связь.

– Значит, ты таскаешь мою сущность слишком близко к собственной крови.

Я смотрю на неё.

Она говорит о коже. Моей краденой коже. Её коже. Я перенёс артефакт перед свадьбой. Не на себе. Не в покоях. В месте, куда не войдут женщины и не сунутся братья без причины. Но связь всё равно растёт.

– Как остановить?

– Верни.

– Другой способ.

Она подходит к столу, берёт яблоко из серебряной чаши, смотрит на него с отвращением и кладёт обратно.

– Отдай кожу огню, воде или мне.

– Огонь уничтожит её?

– Если сжечь правильно – да.

Я запоминаю.

Она видит, как я запоминаю.

Глаза у неё становятся холоднее.

– Не думай об этом.

– Поздно.

– Иван.

Теперь моё имя звучит не как насмешка.

Предупреждение.

Мне не нравится, как сильно оно действует.

– Если кожа сгорит, ты потеряешь силу, – говорю я.

– Я потеряю больше.

– Что?

Она молчит.

Вот ответ, который мне нужен. Не полный. Не удобный. Но настоящий. Я вижу страх у неё под горлом, тонкий, как след от ножа. Василиса боится не смерти. Смерть для таких, как она, наверное, ещё один переход. Она боится остаться только этой женщиной в халате, с человеческими пальцами, человеческими ранами, человеческой зависимостью от чужого решения.

Смешно.

Я хотел власть над чудовищем.

А получил в руку то, чем можно сделать его смертным.

В дверь стучат.

Не скребутся, как слуги.

Стучат.

Три раза.

С паузой.

Фёдор.

Василиса улыбается раньше, чем я успеваю выругаться.

– Брачное утро оживлённое.

– За ширму.

– Нет.

Я смотрю на неё.

– Это приказ?

– Пока просьба.

– Тогда нет.

Снаружи раздаётся голос Фёдора:

– Брат, отец ждёт тебя к полудню. Или ты слишком занят новой супругой?

Василиса берёт мой кубок со вчерашним вином и пьёт из него. Медленно. Так, чтобы если дверь откроется, Фёдор увидел.

Я открываю.

Фёдор стоит в коридоре один, хотя его люди наверняка рядом, за поворотом. Он одет безупречно: серый кафтан, тёмный мех, тонкое кольцо на среднем пальце. Ни следа раздражения из-за вчерашней ткани с кровью.

– Жив, – говорит он. – Я проиграл Борису серебряную гривну.

– Рад, что моя смерть приносит семье развлечения.

Фёдор заглядывает за моё плечо.

Василиса стоит у стола с моим кубком в руке.

Халат мой.

Волосы распущены.

Вид у неё такой, будто всю ночь она не ждала удара, а выбирала, какую часть царской семьи съест первой.

Фёдор замечает всё.

И понимает неверно ровно настолько, насколько мне нужно.

– Царевна, – говорит он.

– Царевич.

– Надеюсь, дворец был гостеприимен.

– Он пытался.

– Борис грубоват в поздравлениях.

– Зато понятен. Я ценю простых мужчин.

Фёдор улыбается.

– А сложных?

– Их приходится дольше чистить от костей.

Я почти смеюсь.

Фёдор смотрит на меня. Узкий. Быстрый. Он ищет трещину. Всегда ищет.

– Отец собирает малый совет, – говорит он. – Тема – северная кампания Бориса и... место твоей жены при дворе.

– Моей жены зовут Василиса.

– И место ей всё равно потребуется.

Он произносит это мягко. Как человек, который предлагает стул. На деле – клетку.

– Передай отцу, что мы будем, – говорю я.

– Мы?

– Она идёт со мной.

Фёдор бросает взгляд на Василису.

– Не боишься приводить нож на совет?

– Боюсь оставлять его без присмотра.

Василиса смеётся тихо, в кубок.

Фёдор наклоняет голову.

– Тогда до полудня.

Он уходит.

Я закрываю дверь.

– Не пей из моего кубка при нём, – говорю я.

– Почему?

– Он решит, что ты мне ближе, чем есть.

– А это плохо?

– Опасность стоит рядом.

Она ставит кубок.

– Для тебя или для меня?

Я не отвечаю.

Она подходит ближе.

Слишком близко для утра после ночи, где никто не спал. Слишком близко для женщины, на чью руку я вчера надел ленту. Слишком близко для ведьмы, чья кожа спрятана там, где даже мёртвые говорят шёпотом.

– Покажи, – говорит она.

– Что?

– Чешуйку.

Я замираю.

– Нет.

Она поднимает руку и касается пальцем моего воротника.

Я ловлю её запястье.

Осторожно, но резко.

Рана под повязкой напоминает о себе через связь – лёгким жаром в моей ладони. Она не пытается вырваться.

– Ты не имеешь права, – говорю я.

– На твою кожу? Забавно.

– Василиса.

– Покажи сам.

– Зачем?

– Чтобы понять, насколько плохо.

– Для меня или для тебя?

Теперь она не отвечает.

Мы стоим так, рука в руке, и воздух между нами снова становится не воздухом, а чем-то более густым. Она смотрит не на моё лицо. На ворот. На место, где под тканью лежит маленький чужой знак. Я смотрю на её рот и думаю, что Борис сделал бы из этого грубую шутку, Фёдор – рычаг, отец – приказ.

А я?

Я отпускаю её запястье.

Расстёгиваю верхнюю пуговицу.

Отвожу ткань.

Василиса не торопится. Поднимает пальцы, но останавливает их на расстоянии. Не касается.

Я должен был бы сказать: трогай.

Не говорю.

Она не спрашивает.

Чешуйка ловит свет и блестит зелёным.

На лице Василисы впервые за всё утро нет насмешки.

– Это плохо, – говорит она.

– Умру?

– Нет.

– Жаль, ты расстроена.

– Если связь пойдёт глубже, ты начнёшь чувствовать больше, чем боль. Сны. Голод. Память кожи. Иногда желания.

– Твои?

– Рода.

Я застёгиваю ворот.

– Чем это грозит?

Она отходит.

– Тем, что однажды ты проснёшься и не сразу поймёшь, почему хочешь лечь на тёплый камень и слушать, как под землёй ползёт медь.

Я представляю это.
На миг.
Камень. Тепло. Глубина. Темнота без страха. Что-то огромное, медленное, старше человеческого языка, двигается под грудью земли.
Я резко отворачиваюсь.
Василиса смотрит внимательно.
– Уже было?
– Нет.
Ложь выходит слишком быстро.
Она позволяет себе улыбку.
– Хорошо.
– Что хорошего?
– Кожа тебя пробует.
– Я не блюдо.
– Для неё – да.
Я сжимаю кулак.
– Малый совет через два часа. Ты пойдёшь рядом и будешь молчать, пока я не скажу.
Она поднимает бровь.
Связь натягивается.
Приказ?
Я понимаю это в то же мгновение, как она.
Слова сказаны так, что закон кожи может принять их за волю. Не вежливую. Не договорную. Настоящую.
Василиса делает вдох.
Её губы смыкаются.
Закон сработал.
Тишина падает страшнее крика.
Я не хотел. Или хотел? Часть меня всегда хочет, чтобы всё было проще. Чтобы сказал – и мир послушался. Чтобы она молчала, когда опасно. Чтобы братья падали. Чтобы отец смотрел.
Василиса стоит передо мной с закрытым ртом.
Глаза живые.
Тело неподвижное.
Я чувствую давление у себя в горле, будто кто-то вжал два пальца под подбородок.
– Отменяю, – говорю быстро. – Говори.
Она делает вдох.
Первый.
Глубокий.
Не бросается на меня. Не ругается. Не смеётся.
Это хуже.
– Вот видишь, – говорит тихо. – Как легко.
– Я не хотел.
– Хотел.
Я открываю рот.
Она поднимает руку.
– Не объясняй. Объяснения люди придумали, чтобы мыть нож после удара и называть его чистым.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.